LIFE FOR GOD

Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории

Владимир Соловьёв

Русская духовная классика

Авторское предисловие, три разговора и повесть

1900 · 1915



2026

LIFE FOR GOD

ХРИСТИАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Книги на русском и английском, аудиозаписи, духовные беседы и мастерская проповедника.

Веб-сайт

lifeforgod.church

Нажмите на адрес или отсканируйте QR-код камерой телефона.

Читать эту книгу онлайн

Об издании

Русский оригинал (1900), современная орфография; исторический английский перевод Александра Бакши (1915).

Автор — Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900). Английский перевод — Александр Бакши (1885–1949), Лондон, 1915; стихотворные переводы А. К. Толстого — G. H. Green, как указано в предисловии переводчика. Это исторический перевод, а не новый перевод Life for God.

Русский текст: электронная транскрипция «Литература и жизнь»; её непосредственное печатное издание не указано. Английский: War, Progress, and the End of History, Hodder & Stoughton for the University of London Press, 1915, скан Cornell University Library.

Оригинал Соловьёва и английское издание 1915 года находятся в общественном достоянии в США. Страница скана Cornell прямо указывает отсутствие известных ограничений в США. Это не универсальная гарантия для всех стран; современные комментарии и оформление внешних сайтов не заимствованы.

Русские примечания — примечания автора; английские — примечания исторического издания. Приложения к отдельным русским изданиям, биографическая статья, предисловие переводчика и редакционное послесловие к предисловию не включены. «Повесть» составляет продолжение третьего разговора и выделена для навигации.

Читать на сайте Life for God →

Источники

Владимир Соловьёв — русский текст / Russian original, «Литература и жизнь»

Alexander Bakshy, 1915 — Cornell University Library / Internet Archive

1915 — University of Toronto copy (independent scan)

РГБ: библиографическая запись издания 1901 года / RSL historical catalogue record

Princeton University: Alexander Bakshy (1885–1949)

Содержание

Об издании 2
Источники 2
Содержание 4
Предисловие автора 5
Разговор первый 17
Разговор второй 55
Разговор третий 108
Краткая повесть об Антихристе 154
Примечания 193

Предисловие автора

[1] Посвящается ушедшим друзьям ранних лет Николаю Михайловичу Лопатину и Александру Александровичу Соколову

[2] Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само собою исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия? Этот жизненный вопрос может отчетливо исследоваться и решаться лишь в целой метафизической системе. Начав работать над этим для тех, кто способен и склонен к умозрению, я, однако, чувствовал, насколько вопрос о зле важен для всех. Около двух лет тому назад особая перемена в душевном настроении, о которой здесь нет надобности распространяться, вызвала во мне сильное и устойчивое желание осветить наглядным и общедоступным образом те главные стороны в вопросе о зле, которые должны затрагивать всякого. Долго я не находил удобной формы для исполнения своего замысла. Но весною 1899 года, за границей, разом сложился и в несколько дней написан первый разговор об этом предмете, а затем, по возвращении в Россию, написаны и два другие диалога. Так сама собою явилась эта словесная форма как простейшее выражение для того, что я хотел сказать. Этою формою случайного светского разговора уже достаточно ясно указывается, что здесь не нужно искать ни научно-философского исследования, ни религиозной проповеди. Моя задача здесь скорее апологетическая и полемическая: я хотел, насколько мог, ярко выставить связанные с вопросом о зле жизненные

стороны христианской истины, на которые с разных сторон напускается туман, особенно в последнее время. [1]

3 Много лет тому назад прочел я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях. Эта религия, последователи которой назывались вертидырниками или дыромоляями, состояла в том, что, просверлив в каком-нибудь темном углу в стене избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли: "Изба моя, дыра моя, спаси меня!" Никогда еще, кажется, предмет богопочитания не достигал такой крайней степени упрощения. Но если обоготворение обыкновенной крестьянской избы и простого, человеческими руками сделанного отверстия в ее стене есть явное заблуждение, то должно сказать, что это было заблуждение правдивое: эти люди дико безумствовали, но никого не вводили в заблуждение; про избу они так и говорили: изба, и место, просверленное в ее стене, справедливо называли дырой.

4 Но религия дыромоляев скоро испытала "эволюцию" и подверглась "трансформации". И в новом своем виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость: своя изба получила теперь название "царства Божия на земле", а дыра стала называться "новым евангелием", и, что всего хуже, различие между этим мнимым евангелием и настоящим, различие совершенно такое же, как между просверленною в бревне дырой и живым и целым деревом, — это существенное различие новые евангелисты всячески старались и замолчать и заговорить.

[5] Я, конечно, не утверждаю прямой исторической или "генетической" связи между первоначальною сектой дыромоляев и проповедью мнимого царства Божия и мнимого евангелия. Это и не важно для моего простого намерения: наглядно показать существенное тождество двух "учений" — с тем нравственным различием, которое я отметил. А тождество здесь — в чистой отрицательности и бессодержательности обоих "мировоззрений". Хотя "интеллигентные" дыромоляи и называют себя не дыромолоями, а христианами и проповедь свою называют евангелием, но христианство без Христа — и евангелие, то есть благая весть, без того блага, о котором стоило бы возвещать, именно без действительного воскресения в полноту блаженной жизни, — есть такое же пустое место, как и обыкновенная дыра, просверленная в крестьянской избе. Обо всем этом можно было бы и не говорить, если бы над рационалистическою дырой не ставилось поддельного христианского флага, соблазняющего и сбивающего с толку множество малых сил. Когда люди, думающие и потихоньку утверждающие, что Христос устарел, превзойден или что его вовсе не было, что это — миф, выдуманный апостолом Павлом, вместе с тем упорно продолжают называть себя "истинными христианами" и проповедь своего пустого места прикрывать переиначенными евангельскими словами, тут уже равнодушие и снисходительное пренебрежение более не у места: ввиду заражения нравственной атмосферы систематическою ложью общественная совесть громко требует, чтобы дурное дело было названо своим настоящим именем. Истинная задача полемики здесь — не опровержение мнимой религии, а обнаружение действительного обмана.

[6] Этот обман не имеет извинения. Между мною как автором трех сочинений, запрещенных духовною цензурою, и этими издателями многих заграничных книг, брошюр и листков не может быть серьезного вопроса о внешних препятствиях для полной откровенности по этим предметам. Остающиеся у нас ограничения религиозной свободы — одна из самых больших для меня сердечных болей, потому что я вижу и чувствую, насколько все эти внешние стеснения вредны и тягостны не только для тех, кто им подвергается, но главным образом для христианского дела в России, а следовательно, для русского народа, а следовательно, и для русского государства.

[7] Но никакое внешнее положение не может помешать убежденному и добросовестному человеку высказать до конца свое убеждение. Нельзя это сделать дома — можно за границей, да и кто же более проповедников мнимого евангелия пользуется этою возможностью, когда дело идет о прикладных вопросах политики и религии? А по главному, принципиальному вопросу для воздержания от неискренности и фальши не нужно и за границу ехать, ведь никакая русская цензура не требует заявлять такие убеждения, которых не имеешь, притворяться верящим в то, во что не веришь, любящим и чтущим то, что презираешь и ненавидишь. Чтобы держать себя добросовестно по отношению к известному историческому Лицу и Его делу, от проповедников пустоты требовалось в России только одно: умалчивать об этом Лице, "игнорировать" Его. Но какая странность! Эти люди не хотят пользоваться по этому предмету ни свободой молчания у себя дома, ни свободой слова за границей. И здесь, и там они предпочитают наружно примыкать к Христову Евангелию; и здесь, и там они не

хотят ни прямо — решительным словом, ни косвенно — красноречивым умолчанием — правдиво показать свое настоящее отношение к Основателю христианства, именно, что Он им совсем чужд, ни на что не нужен и составляет для них только помеху.

[8] С их точки зрения, то, что они проповедуют, само по себе понятно, желательно и спасительно для всякого. Их "истина" держится сама на себе, и, если известное историческое лицо с нею согласно, тем лучше для него, но это никак еще не может дать ему значение высшего авторитета для них, особенно когда то же самое лицо говорило и делало много такого, что для них есть и "соблазн", и "безумие".

[9] Если даже по немощи человеческой эти люди испытывают неодолимую потребность опереть свои убеждения кроме собственного "разума" на какой-нибудь исторический авторитет, то отчего бы им не поискать в истории другого, более для них подходящего? Да и. есть такой давно готовый — основатель широко распространенной буддийской религии. Он ведь действительно проповедовал то, что им нужно: непротивление, бесстрастие, не-делание, трезвость и т.д., и ему удалось даже без мученичества "сделать блестящую карьеру" для своей религии, священные книги буддистов действительно возвещают пустоту, и для полного их согласования с новою проповедью того же предмета потребовалось бы только детальное упрощение; напротив того, Священное Писание евреев и христиан наполнено и насквозь проникнуто положительным духовным содержанием, отрицающим и древнюю и новую пустоту, и, чтобы привязать ее проповедь к какому-нибудь евангельскому или пророческому изречению, необходимо

всеми неправдами разорвать связь этого изречения и с целою книгой, и с ближайшим контекстом, — тогда как буддийские сутты дают сплошными массами подходящие поучения и легенды, и ничего нет в этих книгах по существу или по духу противного новой проповеди. Заменив для нее "галилейского раввина" отшельником из рода шакьев, мнимые христиане ничего действительного не потеряли бы, а выиграли бы нечто очень важное — по крайней мере на мой взгляд — возможность быть и при заблуждении добросовестно мыслящими и в некоторой мере последовательными. Но они этого не захотят... [2]

10 Бессодержательность вероучения новой "религии" и ее логические противоречия слишком бросаются в глаза, и с этой стороны мне пришлось только (в третьем разговоре) представить краткий, но полный перечень положений, очевидно уничтожающих друг друга и едва ли прельщающих кого-нибудь вне такого отпетого типа, как мой князь. Но если бы мне удалось раскрыть чьи-нибудь глаза на другую сторону дела и дать почувствовать иной обманувшейся, но живой душе всю нравственную фальшь этого мертвящего учения в его совокупности — полемическая цель этой книжки была бы достигнута.

11 Впрочем, я глубоко убежден, что слово обличения неправды, до конца договоренное, если бы оно и совсем ни на кого сейчас же не произвело доброго действия, все-таки есть, сверх субъективного исполнения нравственного долга для говорящего, еще и духовно-ощутительная санитарная мера в жизни целого общества, существенно полезная ему и в настоящем, и для будущего.

12 С полемическою задачею этих диалогов связана у меня положительная: представить вопрос о борьбе против зла и

о смысле истории с трех различных точек зрения, из которых одна, религиозно-бытовая, принадлежащая прошедшему, выступает особенно в первом разговоре, в речах генерала; другая, культурно-прогрессивная, господствующая в настоящее время, высказывается и защищается политиком, особенно во втором разговоре, и третья, безусловно-религиозная, которой еще предстоит проявить свое решающее значение в будущем, указана в третьем разговоре в рассуждениях г-на[Z] и в повести отца Пансофия. Хотя сам я окончательно стою на последней точке зрения, но признаю относительную правду и за двумя первыми и потому мог с одинаковым беспристрастием передавать противоположные рассуждения и заявления политика и генерала. Высшая безусловная истина не исключает и не отрицает предварительных условий своего проявления, а оправдывает, осмысливает и освящает их. Если с известной точки зрения всемирная история есть всемирный суд Божий — die Weltgeschichte ist das Weltgericht, то ведь в понятие такого суда входит долгая и сложная тяжба (процесс) между добрыми и злыми историческими силами, а эта тяжба для окончательного решения с одинаковою необходимостью предполагает и напряженную борьбу за существование между этими силами, и наибольшее их внутреннее, следовательно, мирное развитие в общей культурной среде. Поэтому и генерал, и политик перед светом высшей истины оба правы, и я совершенно искренно становился на точку зрения и того и другого. Безусловно неправо только само начало зла и лжи, и не такие способы борьбы с ним, как меч воина или перо дипломата: эти орудия должны оцениваться по своей действительной целесообразности в данных условиях, и каждый раз то из них лучше, которого

приложение уместнее, то есть успешнее, служит добру. И св. Алексий, митрополит, когда мирно председательствовал за русских князей в Орде, и Сергий преподобный, когда благословил оружие Дмитрия Донского против той же Орды, были одинаково служителями одного и того же добра — многочастного и многообразного.

[13] Эти "разговоры" о зле, о военной и мирной борьбе с ним должны были закончиться определенным указанием на последнее, крайнее проявление зла в истории, представлением его краткого торжества и решительного падения. Первоначально этот предмет был мною изложен в той же разговорной форме, как и все предыдущее, и с такою же примесью шутки. Но дружеская критика убедила меня, что такой способ изложения здесь вдвойне неудобен: во-первых, потому, что требуемые диалогом перерывы и вставочные замечания мешают возбужденному интересу рассказа, а во-вторых, потому, что житейский, и в особенности шутливый, тон разговора не соответствует религиозному значению предмета. Найдя это справедливым, я изменил редакцию третьего разговора, вставив в него сплошное чтение "краткой повести об антихристе" из рукописи умершего монаха. Эта повесть (предварительно прочтенная мною публично) вызвала и в обществе, и в печати немало недоумений и перетолкований, главная причина которых очень проста: недостаточное знакомство у нас с показаниями Слова Божия и церковного предания об антихристе.

[14] Внутреннее значение антихриста как религиозного самозванца, "хищением", а не духовным подвигом добывающего себе достоинства Сына Божия, связь его с лжепророком-тавматургом, обольщающим людей

действительными и ложными чудесами, темное и специально греховное происхождение самого антихриста, действием злой силы приобретающего свое внешнее положение всемирного монарха, общий ход и конец его деятельности вместе с некоторыми частными чертами, характерными для его лжепророка, например "сведение огня с неба", убиение двух свидетелей Христовых, выставление их тел на улицах Иерусалима и т.д., — все это находится в Слове Божием и в древнейшем предании. Для связи событий, а также для наглядности рассказа требовались подробности или основанные на исторических соображениях, или подсказанные воображением. Чертам последнего рода — каковы полуспиритические, полуфокуснические проделки всемирного мага с подземными голосами, с фейерверком и т.п. — я, разумеется, не придавал серьезного значения и, кажется, вправе был ждать от "критиков" своих такого же отношения к этому предмету. Что касается до другого, весьма существенного — характеристики трех олицетворенных исповеданий на вселенском соборе, — она могла быть замечена и оценена лишь теми, кто не чужд церковной истории и жизни.

[15] Данный в Откровении характер лжепророка и прямо указанное там назначение его — морочить людей в пользу антихриста — требуют приписать ему всякие проделки колдовского и фокуснического свойства. Достоверно известно, dass sein Hauptwerk ein Feuerwerk sein wird "И творит знамения великие, так что и огонь заставляет нисходить с неба на землю перед лицом людей" (Апокал. XIII, 13). Магическая и механическая техника этого дела не может быть нам заранее известна, и можно только быть уверенным, что через два или три века она уйдет очень далеко от теперешней, а что именно при таком

прогрессе возможно будет для такого чудодея, — об этом я не берусь судить. Некоторые конкретные черты и подробности моей повести допущены только в смысле наглядных пояснений к существенным и достоверным отношениям, чтобы не оставлять их голыми схемами.

[16] Во всем том, что говорится у меня о панмонголизме и азиатском нашествии на Европу, также следует различать существенное от подробностей. Но и самый главный факт здесь не имеет, конечно, той безусловной достоверности, какая принадлежит будущему явлению и судьбе антихриста и его лжепророка. В истории монгольско-европейских отношений ничто не взято прямо из Св. Писания, хотя многое имеет здесь достаточно точек опоры. В общем эта история есть ряд основанных на фактических данных соображений вероятности. Лично я думаю, что эта вероятность близка к достоверности, и не одному мне так кажется, а и другим, более важным лицам... Для связности повествования пришлось придать этим соображениям о грядущей монгольской грозе разные подробности, за которые я, разумеется, не стою и которыми старался не злоупотреблять. Важно для меня было реальнее определить предстоящее страшное столкновение двух миров — и тем самым наглядно пояснить настоятельную необходимость мира и искренней дружбы между европейскими нациями.

[17] Если прекращение войны вообще я считаю невозможным раньше окончательной катастрофы, то в теснейшем сближении и мирном сотрудничестве всех христианских народов и государств я вижу не только возможный, но необходимый и нравственно обязательный путь спасения для христианского мира от поглощения его низшими стихиями.

[18] Чтобы не удлинять и не осложнять своего рассказа, я выпустил из текста разговоров другое предвидение, о котором скажу здесь два слова.

[19] Мне кажется, что успех панмонголизма будет заранее облегчен тою упорною и изнурительною борьбою, которую некоторым европейским государствам придется выдержать против пробудившегося Ислама в Западной Азии, Северной и Средней Африке. Большую, чем обыкновенно думают, роль играет здесь тайная и неустанная деятельность религиозно-политического братства Сенусси, имеющего для движений современного мусульманства такое же руководящее значение, какое в движениях буддийского мира принадлежит тибетскому братству Келанов в Лхассе с его индийскими, китайскими и японскими разветвлениями. Я далек от безусловной вражды к буддизму и тем более к исламу, но отводить глаза от существующего и грядущего положения дел — слишком много охотников и без меня. [3]

[20] Историческим силам, царящим над массой человечества, еще предстоит столкнуться и перемешаться, прежде чем на этом раздирающем себя звере вырастет новая голова — всемирно-объединяющая власть антихриста, который "будет говорить громкие и высокие слова" и набросит блестящий покров добра и правды на тайну крайнего беззакония в пору ее конечного проявления, чтобы — по слову Писания — даже и избранных, если возможно, соблазнить к великому отступлению. Показать заранее эту обманчивую личину, под которой скрывается злая бездна, было моим высшим замыслом, когда я писал эту книжку.

[21] К трем разговорам я прибавил ряд небольших статей, напечатанных в 1897 и 1898 гг. (в газете "Русь").

Некоторые из этих статей принадлежат к наиболее удачному, что когда-либо мною написано. По содержанию же своему они дополняют и поясняют главные мысли трех разговоров.

[22] В заключение я должен выразить сердечную признательность А.П. Саломону, исправившему и дополнившему мои представления о топографии современного Иерусалима, Н.А. Вельяминову, рассказавшему мне про виденную им в 1877 г. башибузуцкую "кухню", и М.М. Бибикову, внимательно разобравшему рассказ генерала в первом разговоре и указавшему на ошибки по части военной техники, которые теперь мною и исправлены.

[23] Разнообразные недостатки и в этом исправленном изложении достаточно мне чувствительны, но я не нашел возможным откладывать печатание этой книжки на неопределенные и необеспеченные сроки. Если мне дано будет время для новых трудов, то и для усовершенствования прежних. А нет — указание на предстоящий исторический исход нравственной борьбы сделано мною в достаточно ясных, хотя и кратких чертах, и я выпускаю теперь этот малый труд с благородным чувством исполненного нравственного долга.

[24] Светлое Воскресение 1900 г.

Разговор первый

[1] В саду одной из тех вилл, что, теснясь у подножия Альп, глядятся в лазурную глубину Средиземного моря, случайно сошлись этою весною пятеро русских: старый боевой генерал; "муж совета", отдыхающий от теоретических и практических занятий государственными делами, — я буду называть его политиком; молодой князь, моралист и народник, издающий разные более или менее хорошие брошюры по нравственным и общественным вопросам; дама средних лет, любопытная ко всему человеческому, и еще один господин неопределенного возраста и общественного положения — назовем его г. Z. Я безмолвно присутствовал при их беседах; некоторые показались мне занимательными, и я тогда же по свежей памяти записал их. Первый разговор начался в мое отсутствие по поводу какой-то газетной статьи или брошюры насчет того литературного похода против войны и военной службы, что по следам гр. Толстого ведется ныне баронессою Зуттнер и м-ром Стэдом. "Политик" на вопрос дамы, что он думает об этом движении, назвал его благонамеренным и полезным; генерал вдруг на это рассердился и стал злобно глумиться над теми тремя писателями, называя их истинными столпами государственной премудрости, путеводным созвездием на политическом небосклоне и даже тремя китами русской земли, на что политик заметил: ну и другие рыбы найдутся. Это привело почему-то в восхищение г-на Z, который заставил, по его словам, обоих противников единомысленно исповедать, что они действительно считают кита за рыбу, и даже будто бы дать сообща определение тому, что такое рыба, а именно: животное,

принадлежащее частью к морскому ведомству, частью же к департаменту водяных сообщений. Думаю, впрочем, что это выдумал сам г. Z. Как бы то ни было, мне не удалось восстановить как следует начало разговора. Сочинять из своей головы по образцу Платона и его подражателей я не решился и начал свою запись с тех слов генерала, которые я услышал, подходя к беседующим.

[2] Audiatur et prima pars

[3] Генерал (взволнованный, говорит, вставая и снова садясь и с быстрыми жестами). Нет, позвольте! Скажите мне только одно: существует теперь или нет христолюбивое и достославное российское воинство? Да или нет?

[4] Политик (растянувшись на шезлонге, говорит тоном, напоминающим нечто среднее между беззаботными богами Эпикура, прусским полковником и Вольтером). Существует ли русская армия? Очевидно, существует. Разве вы слышали, что она упразднена?

[5] Генерал. Ну, не притворяйтесь же! Вы отлично понимаете, что я не про это говорю. Я спрашиваю, имею ли я теперь право по-прежнему почитать существующую армию за достославное христолюбивое воинство, или это название уже более не годится и должно быть заменено другим?

[6] Политик. Э... так вот вы о чем беспокоитесь! Ну, с этим вопросом вы не туда адресовались; обратитесь лучше в департамент герольдии — там ведь разными титулами заведуют.

[7] Г. Z. (говорит как будто с затаенною мыслью). А департамент герольдии на такой запрос генерала ответит, вероятно, что употребление прежних титулов законом не

возбраняется. Разве последний принц Лузиньян не назывался беспрепятственно королем Кипрским, хотя он не то что Кипром управлять, а и вина-то кипрского пить не мог по своему телесному и имущественному состоянию? Так почему же и современной армии не титуловаться христолюбивым воинством?

[8] Генерал. Титуловаться! Так белое и черное — титул? Сладкое и горькое — титул? Герой и подлец — титул?

[9] Г. Z. Да ведь я это не от себя, а от лица мужей, блюдущих законы.

[10] Дама (к политику). Зачем вы останавливаетесь на выражениях? Наверное, генерал хотел что-нибудь сказать своим "христолюбивым воинством".

[11] Генерал. Благодарю вас. Я хотел и хочу сказать вот что. Спокон веков и до вчерашнего дня всякий военный человек — солдат или фельдмаршал, все равно — знал и чувствовал, что он служит делу важному и хорошему — не полезному только или нужному, как полезна, например, ассенизация или стирка белья, а в высоком смысле хорошему, благородному, почетному делу, которому всегда служили самые лучшие, первейшие люди, вожди народов, герои. Это наше дело всегда освящалось и возвеличивалось в церквах, прославлялось всеобщею молвою. И вот в одно прекрасное утро мы вдруг узнаем, что все это нам нужно забыть и что мы должны понимать себя и свое место на свете Божием в обратном смысле. Дело, которому мы служили и гордились, что служим, объявлено делом дурным и пагубным, оно противно, оказывается, Божьим заповедям и человеческим чувствам, оно есть ужаснейшее зло и бедствие, все

народы должны против него соединиться, и его окончательное уничтожение есть только вопрос времени.

[12] Князь. Неужели вы, однако, раньше не слыхали никаких голосов, осуждающих войну и военную службу как остаток древнего людоедства?

[13] Генерал. Ну как не слыхать? И слыхал, и читал на разных языках! Но ведь все эти ваши голоса были для нашего брата — извините за откровенность — не из тучи гром: услышал и забыл. Ну а теперь дело совсем другого рода: мимо не пройдешь. Так вот я и спрашиваю, как нам теперь быть? Чем я, то есть всякий военный, должен себя почитать и как на самого себя смотреть: как на настоящего человека или как на изверга естества? Должен ли я себя уважать за свою посильную службу доброму и важному делу или ужасаться этого своего дела, каяться в нем и смиренно умолять всякого штатского простить мне мое профессиональное окаянство?

[14] Политик. Что за фантастическая постановка вопроса! Как будто от вас стали требовать чего-то особенного. Новые требования обращены не к вам, а к дипломатам и другим "штатским", которые очень мало интересуются вашим "окаянством", как и вашею "христолюбивостью". А к вам, как прежде, так и теперь, — только одно требование: исполнять беспрекословно приказания начальства.

[15] Генерал. Ну, так как вы не интересуетесь военным делом, то натурально и имеете о нем, по вашему выражению, "фантастическое" представление. Вы не знаете, как видно, и того, что в известных случаях приказание начальства только в том и состоит, чтобы не ждать и не спрашивать его приказаний.

[16] Политик. А именно?

[17] Генерал. А именно, представьте себе, например, что я волею начальства поставлен во главе целого военного округа. Значит, мне тем самым приказано всячески руководить вверенными мне войсками, поддерживать и укреплять в них известный образ мыслей, действовать в определенном направлении на их волю, настраивать на известный лад их чувства — одним словом, воспитывать их, так сказать, в смысле их назначения. Прекрасно. Для этой цели мне предоставлено, между прочим, отдавать по войскам моего округа общие приказы от моего имени и под моею личною ответственностью. Ну, так если бы отнесся к высшему начальству с тем, чтобы оно диктовало мне мои приказы или хоть предписывало, в каком направлении мне их писать, так разве не получил бы я на это в первый раз "старого дурака", а во второй — чистой отставки? Это значит, что я сам должен действовать на свои войска в известном духе, который, предполагается, заранее и раз навсегда одобрен и утвержден высшим начальством, так что и спрашивать об этом было бы или глупостью, или дерзостью. А вот теперь-то этот самый "известный дух", который был в сущности один и тот же от Саргона и Ассурбанипала до Вильгельма II, — он-то вдруг и оказывается под сомнением. До вчерашнего дня я знал, что я должен поддерживать и укреплять в своих войсках не другой какой-нибудь, а именно боевой дух — готовность каждого солдата бить врагов и самому быть убитому, для чего непременно нужна полная уверенность в том, что война есть дело святое. И вот у этой-то уверенности отнимается ее основание, военное дело лишается своей, как это говорят по-ученому, "нравственно-религиозной санкции".

[18] Политик. Это все ужасно преувеличено. Никакого такого радикального переворота во взглядах не замечается. С одной стороны, и прежде всегда все знали, что война есть зло и что, чем меньше ее, тем лучше, а с другой стороны, все серьезные люди и теперь понимают, что это есть такого рода зло, которого полное устранение в настоящее время еще невозможно. Значит, дело идет не об уничтожении войны, а об ее постепенном и, может быть, медленном введении в теснейшие границы. А принципиальный взгляд на войну остается тот же, что и был всегда: неизбежное зло, бедствие, терпимое в крайних случаях.

[19] Генерал. И только-то?

[20] Политик. Только.

[21] Генерал (вскакивая с места). А что, вы в святцы заглядывали когда-нибудь?

[22] Политик. То есть в календарь? Приходилось справляться, например, насчет именинниц и именинников.

[23] Генерал. А заметили вы, какие там святые помещены?

[24] Политик. Святые бывают разные.

[25] Генерал. Но какого звания?

[26] Политик. И звания разного, я думаю.

[27] Генерал. Вот то-то и есть, что не очень разного.

[28] Политик. Как? Неужели только одни военные?

[29] Генерал. Не только, а наполовину.

[30] Политик. Ну, опять какое преувеличение!

[31] Генерал. Мы ведь не перепись им поголовную делаем для статистики. А я только утверждаю, что все святые собственно нашей русской церкви принадлежат лишь к двум классам: или монахи разных чинов, или князья, то есть по старине, значит, непременно военные, и никаких других святых у нас нет — разумею святых Мужского пола. Или монах, или воин.

[32] Дама. А юродивых вы забыли?

[33] Генерал. Нисколько не забыл! Но юродивые — ведь это своего рода иррегулярные монахи. Что казаки для армии, то юродивые для монашества. А затем, если вы мне найдете между русскими святыми хоть одного белого священника, или купца, или дьяка, или приказного, или мещанина, или крестьянина — одним словом, какой бы то ни было профессии, кроме монахов и военных, — берите себе все то, что я в будущее воскресенье привезу из Монте-Карло.

[34] Политик. Спасибо. Оставляю вам ваши сокровища и вашу половину святцев, а то и все целиком. Но только объясните мне, пожалуйста, что же, собственно, вы хотели вывести из вашего открытия или наблюдения? Неужели то, что одни монахи и военные могут быть нравственными образцами?

[35] Генерал. Не совсем угадали. Я сам знал высокодобродетельных людей и между белыми священниками, и между банкирами, и между чиновниками, и между крестьянами, а самое добродетельное существо, которое я могу припомнить, была нянюшка у одного из моих знакомых. Но мы ведь не об этом. Я к тому о святых сказал, что каким бы образом могло туда попасть столько воинов наряду с монахами и

предпочтительно перед всеми мирными, гражданскими профессиями, если бы всегда смотрели на военное дело как на терпимое зло вроде питейной торговли или чего-нибудь еще худшего? Ясно, что христианские народы, по мысли которых святцы-то делались (ведь не у одних русских так, а приблизительно то же и у других), не только уважали, но еще особенно уважали военное звание и изо всех мирских профессий только одну военную считали воспитывающею, так сказать, своих лучших представителей для святости. Вот этот-то взгляд и несовместим с теперешним походом против войны.

[36] Политик. Да разве я говорил, что нет никакой перемены? Некоторая желательная перемена происходит несомненно. Религиозный ореол, который окружал войны и военных в глазах толпы, теперь снимается — это так. Но ведь к этому дело шло уже давно. И кого же это практически-то задевает? Разве духовенство, так как изготовление ауреолов в его ведомстве. Ну, придется кой-что почистить с этой стороны. Чего нельзя похерить, истолкуют в смысле иносказательном, а прочее подвергнут благоумолчанию и благозабвению.

[37] Князь. Да уж и начались благоприспособления. Я для своих изданий слежу за нашей духовной литературой. Так уж в двух журналах имел удовольствие прочесть, что христианство безусловно осуждает войну.

[38] Генерал. Не может быть!

[39] Князь. Я и сам глазам не поверил. Могу показать.

[40] Политик (к генералу). Вот видите! Ну а для вас-то тут какая забота? Вы ведь люди дела, а не благоглаголания. Профессиональное самолюбие, что ли, и тщеславие? Так ведь это нехорошо. А практически, повторяю, все для вас

остается по-прежнему. Хотя система милитаризма, от которой вот уж тридцать лет никому вздохнуть нельзя, должна теперь исчезнуть, но войска в известных размерах остаются; и поскольку они будут допущены, т.е. признаны необходимыми, от них будут требоваться те же самые боевые качества, что и прежде.

41 Генерал. Да, уж вы мастера просить молока от мертвого быка! Кто же вам даст эти требуемые боевые качества, когда первое боевое качество, без которого все другие ни к чему, состоит в бодрости духа, а она держится на вере в святость своего дела. Ну, а как же это может статься, если будет признано, что война есть злодейство и губительство, лишь по неизбежности терпимое в крайних случаях?

42 Политик. Но ведь от военных такого признания вовсе и не требуется. Пусть считают себя первыми людьми в свете, какое кому до этого дело? Ведь уж вам объясняли, что принцу Лузиньяну позволено признавать себя королем Кипрским, лишь бы он у нас денег на кипрское вино не просил. Не покушайтесь только на наш карман больше, чем следует, а затем будьте в своих глазах солью земли и красою человечества — кто вам мешает?

43 Генерал. "Будьте в своих глазах"! Да что мы, на луне, что ли, разговариваем? В торричеллиевой пустоте, что ли, вы будете держать военных людей, чтоб до них не доходили никакие посторонние влияния? И это при всеобщей-то воинской повинности, при краткосрочной-то службе, при дешевых-то газетах! Нет, дело уж слишком ясно. Раз военная служба стала вынужденною повинностью для всех и каждого и раз во всем обществе, начиная с представителей государства, как вот вы, например, устанавливается новый, отрицательный взгляд

на военное дело, это взгляд непременно уж будет усвоен и самими военными. Если на военную службу все, начиная с начальства, станут смотреть как на неизбежное покуда зло, то, во-первых, никто не станет добровольно избирать военную профессию на всю жизнь, кроме разве какого-нибудь отребья природы, которому больше деваться некуда; а во-вторых, все те, кому поневоле придется нести временную военную повинность, будут нести ее с теми чувствами, с которыми каторжники, прикованные к своей тачке, несут свои цепи. Извольте при этом говорить о боевых качествах и о военном духе!

[44] Г. Z . Я всегда был уверен, что после введения всеобщей воинской повинности упразднение войск, а затем и отдельных государств есть только вопрос времени, и времени, не слишком уже отдаленного при теперешнем ускоренном ходе истории.

[45] Генерал. Может быть, вы правы.

[46] К н яз ь. А я даже полагаю, что вы наверное правы, хотя это мне до сих пор не приходило в голову в таком виде. Но ведь это превосходно! Подумайте только: милитаризм порождает как свое крайнее выражение систему всеобщей воинской повинности, и вот благодаря именно этому гибнет не только новейший милитаризм, но и все древние основы военного строя. Чудесно.

[47] Дама. У князя даже лицо повеселело. Это хорошо. А то ходил все такой угрюмый — совсем не подобает "истинному христианину".

[48] Князь. Да уж слишком много грустного кругом; одна вот только радость остается: мысль о неизбежном торжестве разума наперекор всему.

[49] Г. Z. Что милитаризм в Европе и в России съедает самого себя — это несомненно. А какие отсюда произойдут радости и торжества — это еще увидим.

[50] Князь. Как? Вы сомневаетесь в том, что война и военщина — безусловное и крайнее зло, от которого человечество должно непременно и сейчас же избавиться? Вы сомневаетесь, что полное и немедленное уничтожение этого людоедства было бы во всяком случае торжеством разума и добра?

[51] Г. Z. Да, я совершенно уверен в противном.

[52] Князь. То есть это в чем же?

[53] Г. Z. Да, в том, что война не есть безусловное зло и что мир не есть безусловное добро, или, говоря проще, что возможна и бывает хорошая война, возможен и бывает дурной мир.

[54] Князь. А! Теперь я вижу разницу между вашим взглядом и взглядом генерала: он ведь думает, что война всегда хорошее дело, а мир — всегда дурное.

[55] Генерал. Ну, нет! И я отлично понимаю, что война может быть иногда очень плохим делом, именно когда нас бьют, как, например, под Нарвой или Аустерлицем, и мир может быть прекрасным делом, как, например, мир Ништадтский или Кучук-Кайнарджийский.

[56] Дама. Это, кажется, варьянт знаменитого изречения того кафра или готтентота, который говорил миссионеру, что он отлично понимает разницу между добром и злом: добро — это когда я уведу чужих жен и коров, а зло — когда у меня уведут моих.

[57] Генерал. Да ведь это мы с африканцем-то вашим только сострили: он нечаянно, а я нарочно. А вот теперь хотелось

бы послушать, как умные люди вопрос о войне с нравственной точки зрения обсуждать будут.

58 Политик. Ах! Лишь бы только наши "умные люди" не примешали какой-нибудь схоластики и метафизики к такому ясному, исторически обусловленному вопросу.

59 Князь. Ясному с какой точки зрения?

60 Политик. Моя точка зрения — обыкновенная, европейская, которую, впрочем, теперь и в других частях света усвояют понемногу люди образованные.

61 Князь. А сущность ее, конечно, в том, чтобы признавать все относительным и не допускать безусловной разницы между должным и недолжным, хорошим и дурным. Не так ли?

62 Г. Z. Виноват. Это пререкание для нашего вопроса, пожалуй, бесполезно. Я вот, например, вполне признаю безусловную противоположность между нравственным добром и злом, но вместе с тем мне совершенно ясно, что война и мир сюда не подходят, что окрасить войну сплошь одною черною краскою, а мир — одною белою никак невозможно.

63 Князь. Но ведь это не внутреннее противоречие! Если то, что само по себе дурно, например, убийство, может быть хорошо в известных случаях, когда вам угодно называть его войною, то куда же денется безусловное-то различие добра и зла?

64 Г. Z. Как это просто: "Всякое убийство есть безусловное зло; война есть убийство; следовательно, война есть безусловное зло". Силлогизм — первый сорт. Только вы забыли, что обе ваши посылки, и большая и малая, еще

должны быть доказаны, а следовательно, и заключение еще висит пока на воздухе.

[65] Политик. Ну разве я не говорил, что мы попадем в схоластику?

[66] Дама. Да про что, собственно, они толкуют?

[67] Политик. Про какие-то большие и малые посылки.

[68] Г. Z. Простите! Мы сейчас к делу подойдем. Так вы утверждаете, что во всяком случае убить, то есть отнять жизнь у другого, есть безусловное зло?

[69] Князь. Без сомнения.

[70] Г. Z. Ну а быть убитым — безусловное это зло или нет?

[71] Князь. По-готтентотски — разумеется, да. Но ведь мы говорили про нравственное зло, а оно может заключаться лишь в собственных действиях разумного существа, которые от него самого зависят, а не в том, что с ним случается помимо его воли. Значит, быть убитым — все равно как умереть от холеры или от инфлуэнцы, не только не есть безусловное зло, но даже вовсе не есть зло. Этому нас еще Сократ и стоики научили.

[72] Г. Z. Ну, за людей столь древних я не берусь отвечать. А ваша-то вот безусловность при нравственной оценке убийства как будто хромает: ведь, по-вашему, выходит, что безусловное зло состоит в причинении другому чего-то такого, что вовсе не есть зло. Воля ваша, а тут что-то хромает. Однако мы эту хромоту бросим, а то, пожалуй, в самом деле в схоластику залезем. Итак, при убийстве зло состоит не в физическом факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта, именно в злой воле убивающего. Так ведь?

[73] Князь. Ну конечно. Да ведь без этой злой воли и убийства не бывает, а бывает или несчастье, или неосторожность.

[74] Г. Z. Это ясно, когда воли убивать вовсе не было, например при неудачной операции. Но ведь можно представить и другого рода положение, когда воля хотя и не имеет своей прямою целью лишить жизни человека, однако заранее соглашается на это как на крайнюю необходимость, — будет ли и такое убийство безусловным злом, по-вашему?

[75] Князь. Да, конечно, будет, раз воля согласилась на убийство.

[76] Г. Z. А разве не бывает так, что воля, хотя и согласна на убийство, не есть, однако, злая воля и, следовательно, убийство не может здесь быть безусловным злом даже с этой субъективной стороны?

[77] Князь. Ну, это уже совсем что-то непонятное… А! Впрочем, догадываюсь: вы разумеете тот знаменитый случай, когда в пустынном месте какой-нибудь отец видит разъяренного мерзавца, который бросается на его невинную (для большего эффекта прибавляют еще малолетнюю) дочь, чтобы совершить над нею гнусное злодеяние, и вот несчастный отец, не имея возможности иначе защитить ее, убивает обидчика. Тысячу раз слыхал этот аргумент!

[78] Г. Z. Замечательно, однако, не то, что вы тысячу раз его слыхали, а то, что никто ни одного раза не слыхал от ваших единомышленников дельного или хоть сколько-нибудь благовидного возражения на этот простой аргумент.

[79] Князь. Да на что же тут возражать?

[80] Г. Z. Вот, вот! Ну, если не хотите и форме возражения, то докажите каким-нибудь прямым и положительным образом, что во всех случаях без исключения, следовательно, и в том, о котором у нас речь, воздержаться от сопротивления злу силою, безусловно, лучше, нежели употребить насилие с риском убить злого и вредного человека.

[81] Князь. Да какое же тут может быть особое доказательство для единичного случая? Раз вы признали, что вообще убийство есть в нравственном смысле зло, то ясно, что и во всяком единичном случае оно будет также зло.

[82] Дама. Ну, это слабо. Г. Z. Это даже очень слабо, князь. Ведь о том, что вообще лучше не убивать, чем убивать, — об этом нет спора, в этом все согласны. А вопрос именно только об единичных случаях. Спрашивается: есть ли общее или общепризнанное правило не убивать — действительно безусловное и, следовательно, не допускающее никакого исключения, ни в каком единичном случае и ни при каких обстоятельствах, или же оно допускает хоть одно исключение и, следовательно, уже не есть безусловное?

[83] Князь. Нет, я не согласен на такую формальную постановку вопроса. И к чему это? Положим, я допущу, что в вашем исключительном случае, нарочно выдуманном для спора...

[84] Дама (укоризненно). Ай-ай!

[85] Ге н е р а л (иронически). О-го-го!

[86] Князь (не обращая внимания). Допустим, что в вашем выдуманном случае убить лучше, чем не убивать, — в самом деле я этого, конечно, не допускаю, но положим,

что вы тут правы; положим даже, что ваш случай не выдуманный, а действительный, но как и вы согласитесь, совершенно редкий, исключительный. А ведь у нас дело идет о войне — явлении общем, всемирном; и не станете же вы утверждать, что Наполеон, или Мольтке, или Скобелев находились в положении сколько-нибудь похожем на положение отца, принужденного защищать от покушений изверга невинность своей малолетней дочери?

[87] Дама. Вот это лучше прежнего. Bravo, mon prince!

[88] Г. Z. Действительно, ловкий скачок от неприятного вопроса. Но не позволите ли вы мне, однако, установить между этими двумя явлениями — единичным убийством и войною — их логическую, а вместе и историческую связь. А для этого сначала опять возьмем наш пример, но только без тех частностей, которые как будто усиливают, а на самом деле ослабляют его значение. Не нужно тут ни отца, ни малолетней дочери, так как при них вопрос сейчас же теряет свое чисто этическое свойство, из области разумно-нравственных чувств: родительская любовь, конечно, заставит этого отца убить злодея на месте, не останавливаясь на обсуждении вопроса, должен ли он и имеет ли право это сделать в смысле высшего нравственного начала. Итак, возьмем не отца, а бездетного моралиста, на глазах которого чужое и незнакомое ему слабое существо подвергается неистовому нападению дюжего злодея. Что же, по-вашему, этот моралист должен, скрестя руки, проповедовать добродетель в то время, как осатаневший зверь будет терзать свою жертву? Этот моралист, по-вашему, не почувствует в себе нравственного побуждения остановить зверя силою, хотя бы и с возможностью и даже вероятностью убить его? И если он

вместо того допустит злодеянию совершиться под аккомпанемент его хороших слов, что же, по-вашему, совесть не будет упрекать его и не будет ему стыдно до отвращения к самому себе?

[89] Князь. Может быть, все, что вы говорите, будет ощущаться моралистом, не верящим в действительность нравственного порядка или забывшим, что Бог не в силе, а в правде.

[90] Дама. И это очень хорошо сказано. Ну, что-то вы теперь ответите?

[91] Г. Z. Я отвечу, что желал бы, чтобы это было сказано еще лучше, а именно прямее, проще и ближе к делу. Вы ведь хотели сказать, что моралист, действительно верящий в правду Божию, должен, не останавливая злодея силою, обратиться к Богу с молитвою, чтобы злое дело не совершилось: или через чудо нравственное — внезапное обращение злодея на путь истинный, или чрез чудо физическое — внезапный паралич, что ли...

[92] Дама. Можно и без паралича: разбойник может быть чем-нибудь испуган или вообще как-нибудь отвлечен от своего замысла.

[93] Г. Z. Ну, это-то все равно, потому что чудо ведь не в самом происшествии, а в целесообразной связи этого происшествия, будь то телесный паралич или душевное какое-нибудь волнение, с молитвою и ее нравственным предметом. Во всяком случае предлагаемый князем способ помешать злому делу сводится все-таки к молитве о чуде.

[94] Князь. Ну... то есть... почему же к молитве... и к чуду?

[95] Г. Z. А то к чему же?

[96] Князь. Но раз я верю, что мир управляется добрым и разумным началом жизни, я верю и тому, что в мире может происходить только то, что согласно с этим, то есть с волею Божией.

[97] Г. Z. Виноват! Вам сколько лет?

[98] Князь. Что значит этот вопрос?

[99] Г. Z. Ничего обидного, уверяю вас. Лет тридцать-то будет?

[100] Князь. Ну, побольше будет.

[101] Г. Z. Так вам, наверное, приходилось видать, а не видать, так слыхать, а не слыхать, так читать в газетах, что злые-то или безнравственные дела совершаются все-таки на сем свете.

[102] Князь. Ну?

[103] Г. Z. Ну так как же? Значит, "нравственный порядок", или правда, или воля Божия, очевидно, сами собою в мире не осуществляются...

[104] Политик. Вот наконец на дело похоже. Если зло существует, то, значит, боги или не могут, или не хотят ему помешать, а в обоих случаях богов, как всемогущих и благих сил, вовсе нет. Старо, но верно.

[105] Дама. Ах, что это вы!

[106] Генерал. Вот ведь до чего договорились. "Пофилософствуй, ум вскружится!"

[107] Князь. Ну, это плохая философия! Как будто Божья воля связана с какими-нибудь представлениями о добре и зле!

[108] Г. Z. С какими-нибудь представлениями не связана, но с истинным понятием добра связана теснейшим образом. Иначе если добро и зло вообще безразличны для божества, то вы сами себя опровергли окончательно.

[109] Князь. Почему это?

[110] Г. Z. Да ведь если, по-вашему, для божества все равно, что сильный мерзавец под влиянием зверской страсти истребляет слабое существо, то ведь и подавно божество ничего не может иметь против того, чтобы под влиянием сострадания кто-нибудь из нас истребил мерзавца. Ведь не станете же вы защищать такую нелепость, что только убийство слабого и безобидного существа не есть зло перед Богом, а убийство сильного и злого зверя есть зло.

[111] Князь. Это вам кажется нелепостью, потому что вы не туда смотрите, куда следует: нравственно важно не то, кто убит, а то, кто убивает. Ведь вот вы сами назвали злодея зверем, то есть существом без разума и совести, — какое же может быть нравственное зло в его действиях?

[112] Дама. Ай-ай! Да разве тут про зверя в буквальном смысле? Это все равно как если бы я сказала своей дочери: "Какие ты говоришь глупости, ангел мой!", а вы бы стали на меня кричать: "Что с вами? Разве ангелы могут говорить глупости?" Ай-ай, какой плохой спор!

[113] Князь. Извините, я отлично понимаю, что злодей назван зверем метафорически и что у этого зверя нет хвоста и копыт; но ясно, что про неразумность и бессовестность здесь говорится в буквальном смысле: не может же человек с разумом и совестью совершать такие дела!

[114] Г. Z. Новая игра словами! Конечно, человек, поступающий по-зверски, теряет разум и совесть в том

смысле, что перестает слушаться их голоса; но чтобы разум и совесть вовсе в нем не говорили, — это еще вам нужно доказать, а пока я продолжаю думать, что зверский человек отличается от нас с вами не отсутствием разума и совести, а только своей решимостью действовать им наперекор, по прихотям своего зверя. А зверь такой же точно и в нас сидит, только мы его обыкновенно на цепи держим, ну а тот человек, значит, спустил его с цепи и сам тянется за его хвостом; а цепь-то и у него есть, только без употребления.

115 Князь. Вот именно. А если князь с вами не согласен, бейте его скорее его собственным прикладом! Да ведь если злодей есть только зверь без разума и совести, так ведь убить его все равно что убить волка или тигра, бросившихся на человека, — это, кажется, и Обществом покровительства животных еще не запрещено.

116 Князь. Но вы опять забываете, что, каково бы ни было состояние этого человека — полная ли атрофия разума и совести или сознательная безнравственность, если такая возможна, дело ведь не в нем, а в вас самих: у вас-то разум и совесть не атрофированы, и притом вы не хотите сознательно нарушать их требования, — ну так вы и не убьете этого человека, каков бы он ни был.

117 Г. Z. Конечно, не убил бы, если бы разум и совесть мне это безусловно запрещали. Но представьте себе, что разум и совесть говорят мне совсем другое, и, кажется, более разумное и добросовестное.

118 Князь. Это любопытно. Послушаем.

119 Г. Z. И прежде всего разум и совесть умеют считать по крайней мере до трех...

120 Генерал. Ну-тка, ну-тка!

121 Г. Z. А потому разум и совесть, если не хотят фальшивить, не станут говорить мне два, когда на деле — три...

122 Генерал (в нетерпении). Ну-ну!

123 Князь. Ничего не понимаю.

124 Г. Z. Да ведь, по-вашему, разум и совесть говорят мне только обо мне самом да о злодее, и все дело, по-вашему, в том, чтобы я его как-нибудь пальцем не тронул. Ну а ведь по правде-то тут есть и третье лицо, и, кажется, самое главное, — жертва злого насилия, требующая моей помощи. Ее-то вы всегда забываете, ну а совесть-то говорит и о ней, и о ней прежде всего, и воля Божия тут в том, чтобы я спас эту жертву, по возможности щадя злодея; но ей-то я помочь должен во что бы то ни стало и во всяком случае: если можно, то увещаниями, если нет, то силой, ну а если у меня руки связаны, тогда только тем крайним способом — крайним сверху, — который вы преждевременно указали и так легко сбросили, именно молитвою, то есть тем высшим напряжением доброй воли, что, я уверен, действительно творит чудеса, когда это нужно. Но какой из этих способов помощи нужно употребить, это зависит от внутренних и внешних условий происшествия, а безусловно здесь только одно: я должен помочь тем, кого обижают. Вот что говорит моя совесть.

125 Генерал. Прорван центр, ура!

126 Князь. Ну, я от такой широкой совести отошел. Моя говорит в этом случае определеннее и короче: не убий! — вот и все. А впрочем, я и теперь не вижу, чтобы мы сколько-нибудь подвинулись в нашем споре. Если бы я опять согласился с вами, что в том положении, которое вы выставляете, всякий, даже нравственно развитой и

вполне добросовестный человек, мог бы под влиянием сострадания и не имея достаточно времени, чтобы дать себе ясный отчет о нравственном качестве своего поступка, мог бы допустить себя до убийства, — то что же опять-таки отсюда следует для главного-то нашего вопроса? Разве, повторяю, Тамерлан, или Александр Македонский, или лорд Кичинер убивали и заставляли убивать людей для защиты слабых существ от покушавшихся на них злодеев?

[127] Г. Z. Хотя сопоставление Тамерлана с Александром Македонским есть плохое предвещание для наших исторических вопросов, но так как вы вот уже второй раз нетерпеливо переходите в эту область, то позвольте мне сделать историческую ссылку, которая действительно поможет нам связать вопрос о личной защите с вопросом о защите государственной. Дело было в двенадцатом столетии, в Киеве. Удельные князья, уже тогда, по-видимому, державшиеся ваших взглядов на войну и полагавшие, что ссориться и драться можно только "chez soi", не соглашались идти в поход против половцев, говоря, что им жалко подвергать людей бедствиям войны. На это великий князь Владимир Мономах держал такую речь: "Вы жалеете смердов, а о том не подумаете, что вот придет весна, выедет смерд в поле..."

[128] Дама. Пожалуйста, без дурных слов!

[129] Г. Z. Да ведь это из летописи.

[130] Дама. А вы ее все равно наизусть не помните, так говорите своими словами. А то выходит как-то глупо: "придет весна" — ждешь: "зацветут цветы, запоют соловьи", и вдруг какой-то "смерд"!

[131] Г. Z. Ну, хорошо: "Придет весна, выедет крестьянин в поле с конем, землю пахать. Приедет половчин, крестьянина убьет, коня уведет; наедут потом половцы большою толпой, всех крестьян перебьют, жен с детьми в полон заберут, скот угонят, село выжгут. Что же вы в этом-то людей не жалеете? Я их жалею, для того и зову вас на половцев". На этот раз пристыженные князья послушались, и земля отдохнула при Владимире Мономахе. Ну а потом они вернулись к своему миролюбию, избегавшему внешних войн, чтобы на досуге дома безобразничать, и кончилось для России монгольским игом, а для собственных потомков этих князей — тем угощением, которое поднесла им история в лице Ивана Четвертого.

[132] Князь. Ничего не понимаю! То вы мне рассказываете такое происшествие, которое никогда ни с кем из нас не случалось и, наверное, не случится, то поминаете какого-то Владимира Мономаха, которого, может быть, вовсе не существовало и до которого нам, во всяком случае, нет никакого дела...

[133] Дама. Parlez pour vous, monsieur!

[134] Г. Z. Да вы, князь, из Рюриковичей?

[135] Князь. Говорят; так что же, по-вашему, не интересоваться ли мне Рюриком, Синеусом и Трувором?

[136] Дама. По-моему, не знать своих предков — это все равно как маленькие дети, которые думают, что их в огороде под капустой нашли.

[137] Князь. Ну а как же быть тем несчастным, у которых нет предков?

[138] Г. Z. Есть у всякого по крайней мере два великих предка, оставивших в общее пользование свои подробные и очень поучительные записки: отечественную и всемирную историю.

[139] Князь. Но не могут ли эти записки решать для нас вопрос о том, как нам теперь быть, что мы должны теперь делать! Пусть Владимир Мономах существовал действительно, а не в воображении -только какого-нибудь мниха Лаврентия или Ипатия; пусть даже он был превосходнейшим человеком и искренне жалел "смердов". В таком случае он был прав, что воевал с половцами, потому что в те дикие времена нравственное сознание еще не возвысилось над грубым византийским пониманием христианства и позволяло ради кажущегося добра убивать людей. Но как же нам-то это делать, раз мы поняли, что так как убийство есть зло, противное воле Божией, запрещенное издревле заповедью Божиею, то оно ни под каким видом и ни под каким именем не может быть нам позволительно и не может перестать быть злом, когда вместо одного человека убиваются под названием войны тысячи людей. Это есть прежде всего вопрос личной совести.

[140] Генерал. Ну, если дело в личной совести, так позвольте вам доложить вот что. Я человек в нравственном смысле — как и в других, конечно, — совсем средний, не черный, не белый, а серый. Ни особенной добродетели, ни особенного злодейства не проявлял. И в добрых-то делах всегда есть загвоздка: никак не скажешь наверно, по совести, что тут в тебе действует, настоящее ли добро или только слабость душевная, привычка житейская, а иной раз и тщеславие. Да и мелко все это. Во всей моей жизни был только один

случай, который и мелким назвать нельзя, а главное, я наверное знаю, что тут уже никаких сомнительных побуждений у меня не было, а владела мною только одна добрая сила. Единственный раз в жизни я испытал полное нравственное удовлетворение и даже в некотором роде экстаз, так что и действовал я тут без всяких размышлений и колебаний. И осталось это доброе дело до сих пор, да, конечно, и навеки останется, самым лучшим, самым чистым моим воспоминанием. Ну-с, и было это мое единственное доброе дело — убийством, и убийством немалым, ибо убил я тогда в какие-нибудь четверть часа гораздо более тысячи человек...

141 Дама. Quelles blagues! А я думала, что вы — серьезно.

142 Генерал. Да, совершенно серьезно: могу свидетелей представить. Ведь не руками я убивал, не моими грешными руками, а из шести чистых, непорочных стальных орудий, самою добродетельною, благотворною картечью.

143 Дама. Так в чем же тут добро?

144 Генерал. Ну конечно, хоть я не только военный, а по-нынешнему и "милитарист", но не стану же я называть добрым делом простое истребление тысячи обыкновенных людей, будь они немцы или венгерцы, англичане или турки. А тут было дело совсем особенное. Я и теперь не могу равнодушно рассказывать, так оно мне всю душу выворотило.

145 Дама. Ну, рассказывайте скорей!

146 Генерал. Так как я об орудиях упомянул, то вы, конечно, догадались, что было это в последнюю турецкую войну. Я был при кавказской армии. После 3-го октября... Дама. Что такое 3-е октября?

[147] Генерал. А это было сражение на Аладжинских высотах, когда мы в первый раз "непобедимому" Гази-Мухтар-паше все бока обломали... Так после 3-го октября мы сразу продвинулись в эту азиатчину. Я был на левом фланге и командовал передовым разведочным отрядом. Были у меня нижегородские драгуны, три сотни кубанцев и батарея конной артиллерии. — Страна невеселая — еще в горах ничего, красиво, а внизу только и видишь, что пустые, выжженные села да потоптанные поля. Вот раз — 28-го октября это было — спускаемся мы в долину, и на карте значится, что большое армянское село. Ну конечно, села никакого, а было действительно порядочное, и еще недавно: дым виден за много верст. А я свой отряд стянул, потому что, по слухам, можно было наткнуться на сильную кавалерийскую часть. Я ехал с драгунами, казаки впереди. Только вблизи села дорога поворот делает. Смотрю, казаки подъехали и остановились как вкопанные — не двигаются. Я поскакал вперед; прежде чем увидел, по смраду жареного мяса догадался: башибузуки свою кухню оставили. Огромный обоз с беглыми армянами не успел спастись, тут они его захватили и хозяйничали. Под телегами огонь развели, а армян, того головой, того ногами, того спиной или животом привязали к телеге, на огонь свесили и потихоньку поджаривали. Женщины с отрезанными грудями, животы вспороты. Уже всех подробностей рассказывать не стану. Только одно вот и теперь у меня в глазах стоит. Женщина навзничь на земле за шею и плечи к тележной оси привязана, чтобы не могла головы повернуть, — лежит не обожженная и не ободранная, а только с искривленным лицом — явно от ужаса померла, — а перед нею высокий шест в землю вбит, а на нем младенец голый привязан — ее сын, наверное, — весь

почерневший и с выкатившимися глазами, а подле и решетка с потухшими углями валяется. Тут на меня сначала какая-то тоска смертельная нашла, на мир Божий смотреть противно, и действую как будто машинально.

148 Скомандовал рысью вперед, въехали мы в сожженное село — чисто, ни кола ни двора. Вдруг, видим, из сухого колодца чучело какое-то карабкается... Вылез, замазанный, ободранный, упал на землю ничком, причитает что-то по-армянски. Подняли его, расспросили: оказался армянин из другого села; малый толковый. Был по торговым делам в этом селе, когда жители собрались бежать. Только что они тронулись, как нагрянули башибузуки, — множество, говорит, сорок тысяч. Ну, ему, конечно, не до счету было. Притаился в колодце. Слышал вопли, да и так знал, чем кончилось. Потом, слышит, башибузуки вернулись и на другую дорогу переехали. Это они, говорит, наверное, в наше село идут и с нашими то же делать будут. Ревет, руки ломает.

149 Тут со мною вдруг какое-то просветление сделалось. Сердце будто растаяло, и мир Божий точно мне опять улыбнулся. Спрашиваю армянина, давно ли черти отсюда ушли? По его соображению — часа три.

150 — А много ли до вашего села конного пути?

151 — Пять часов с лишком.

152 — Ну, в два часика никак не догонишь. Ах ты, Господи! А другая-то дорога к вам есть, короче?

153 — Есть, есть. — А сам весь встрепенулся. — Есть дорога через ущелья. Совсем короткая. Немногие и знают ее.

154 — Конному пройти можно?

155 — Можно.

156 — А орудиям?

157 — Трудно будет. А можно.

158 Велел я дать армянину лошадь, и со всем отрядом — за ним в ущелье. Как уж мы там в горах карабкались — я и не заметил хорошенько. Опять машинальность нашла; но только в душе легкость какая-то, точно на крыльях лечу, и уверенность полная: знаю, что нужно делать, и чувствую, что будет сделано.

159 Стали мы выходить из последнего ущелья, после которого наша дорога на большую переходила, — вижу, армянин скачет назад, машет руками: тут, мол, они! Подъехал я к передовому разъезду, навел трубку: точно — конницы видимо-невидимо; ну, не сорок тысяч, конечно, а тысячи три-четыре будет, если не все пять. Увидали чертовы дети казаков — поворотили нам навстречу — мы-то им в левый фланг из ущелья выходили. Стали из ружей палить в казаков. Ведь так и жарят, азиатские чудища, из европейских ружей, точно люди! То там, то тут казак с лошади свалится. Старший из сотенных командиров подъезжает ко мне:

160 — Прикажите атаковать, ваше превосходительство! Что ж они, анафемы, нас, как перепелок, подстреливать будут, пока орудия-то устанавливают. Мы их и сами разнесем.

161 — Потерпите, голубчики, еще чуточку, говорю. Разогнать-то, говорю, вы их разгоните, а какая ж в том сладость? Мне Бог велит прикончить их, а не разогнать.

162 Ну, двум сотенным командирам приказал, наступая врассыпную, начать с чертями перестрелку, а потом,

ввязавшись в дело, отходить на орудия. Одну сотню оставил маскировать орудия, а нижегородцев поставил уступами влево от батареи. Сам весь дрожу от нетерпения. И младенец-то жареный с выкаченными глазами передо мной, и казаки-то падают. Ах ты, Господи!

163 Дама. Как же кончилось?

164 Генерал. А кончилось по самому хорошему, без промаха! Ввязались казаки в перестрелку и сейчас же стали отходить назад с гиком. Чертово племя за ними — раззадорились, уж и стрелять перестали, скачут всей оравой прямо на нас. Подскакали казаки к своим саженей на двести и рассыпались горохом кто куда. Ну, вижу, пришел час воли Божией. Сотня, раздайся! Раздвинулось мое прикрытие пополам — направо-налево, — все готово. Господи благослови! Приказал пальбу батарее.

165 И благословил же Господь все мои шесть зарядов. Такого дьявольского визга я отродясь не слыхивал. Не успели они опомниться — второй залп картечи. Смотрю, вся орда назад шарахнулась. Третий — вдогонку. Такая тут кутерьма поднялась, точно как в муравейник несколько зажженных спичек бросить. Заметались во все стороны, давят друг друга. Тут мы с казаками и драгунами с левого фланга ударили и пошли крошить как капусту. Немного их ускакало — которые от картечи увернулись, на шашки попали. Смотрю, иные уж и ружья бросают, с лошадей соскакивают, амана запросили. Ну, тут я уж и не распоряжался — люди и сами понимали, что не до амана теперь, — всех казаки и нижегородцы порубили.

166 А ведь если бы эти безмозглые дьяволы после двух первых-то залпов, что были им, можно сказать, в упор пущены — саженях в двадцати-тридцати, если бы они

вместо того, чтобы назад кинуться, на пушки поскакали, так уж нам была бы верная крышка — третьего-то залпа уж не дали бы!

[167] Ну, с нами Бог! Кончилось дело. А у меня на душе — светлое Христово Воскресение. Собрали мы своих убитых — тридцать семь человек Богу душу отдали. Положили их на ровном месте в несколько рядов, глаза закрыли. Был у меня в третьей сотне старый урядник, Одарченко, великий начетчик и способностей удивительных. В Англии был бы первым министром. Теперь он в Сибирь попал за сопротивление властям при закрытии какого-то раскольничьего монастыря и истреблении гроба какого-то их почитаемого старца. Кликнул я его. "Ну, — говорю, — Одарченко, дело походное, где нам тут в аллилуйях разбираться, будь у нас за попа — отпевай наших покойников". А для него, само собой, первое удовольствие. "Рад стараться, ваше превосходительство!" А сам, бестия, даже просиял весь. Певчие свои тоже нашлись. Отпели чин чином. Только священнического разрешения нельзя было дать, да тут его и не нужно было: разрешило их заранее слово Христово про тех, что душу свою за други своя полагают. Вот как сейчас мне это отпевание представляется. День-то весь был облачный, осенний, а тут разошлись тучи перед закатом, внизу ущелье чернеет, а на небе облака разноцветные, точно Божьи полки собрались. У меня в душе все тот же светлый праздник. Тишина какая-то и легкость непостижимая, точно с меня вся нечистота житейская смыта и все тяжести земные сняты, ну, прямо райское состояние — чувствую Бога, да и только. А как стал Одарченко по именам поминать новопреставленных воинов, за веру, царя и отечество на поле брани живот свой положивших, тут-то я почувствовал, что не многоглаголение это

официальное и не титул какой-то, как вот вы изволили говорить, а что взаправду есть христолюбивое воинство и что война, как была, так есть и будет до конца мира великим, честным и святым делом...

168 Князь (после некоторого молчания). Ну а когда вы похоронили своих в этом светлом настроении, неужели совсем-таки не вспомнил о неприятелях, которых вы убили в таком большом количестве?

169 Генерал. Ну слава Богу, что мы успели двинуться дальше прежде, чем эта падаль не стала о себе напоминать.

170 Дама. Ах, вот и испортили все впечатление. Ну, можно ли это?

171 Генерал (обращаясь к князю). Да чего бы вы, собственно, от меня хотели? Чтобы я давал христианское погребение этим шакалам, которые не были ни христиане, ни мусульмане, а черт знает кто? А ведь, если бы я, сойдя с ума, велел бы их в самом деле вместе с казаками отпевать, вы бы, пожалуй, стали меня обличать в религиозном насилии. Как же! Эти несчастные милашки при жизни черту кланялись, на огонь молились, и вдруг после смерти подвергать их суеверным и грубым лжехристианским обрядам! Нет, у меня тут другая была забота. Позвал сотников и есаулов и велел объявить, чтобы никто из людей не смел на три сажени к чертовой падали подходить, а то я видел, что у моих казаков давно уже руки чесались пощупать их карманы, по своему обычаю. А ведь кто их знает, какую бы чуму тут напустили. Пропади они совсем!

172 Князь. Так ли я вас понял? Вы боялись, чтобы казаки не стали грабить трупы башибузуков и не перенесли от них в ваш отряд какой-нибудь заразы?

173 Генерал. Именно этого боялся. Кажется, ясно.

174 Князь. Вот так христолюбивое воинство!

175 Генерал. Казаки-то?!. Сущие разбойники! Всегда такими и были.

176 Князь. Да что, мы во сне, что ли, разговариваем?

177 Генерал. Да и мне что-то кажется неладно. Никак в толк не возьму, о чем вы, собственно, спрашиваете?

178 Политик. Князь, вероятно, удивляется, что ваши идеальные и чуть не святые казаки вдруг, по вашим же словам, оказываются сущими разбойниками.

179 Князь . Да; и я спрашиваю, каким же это образом война может быть "великим, честным и святым делом", когда, по-вашему же, выходит, что это борьба одних разбойников с другими?

180 Генерал. Э! Вот оно что. "Борьба одних разбойников с другими". Да ведь то-то и есть, что с другими, совсем другого сорта. Или вы в самом деле думаете, что пограбить при оказии то же самое, что младенцев в глазах матерей на угольях поджаривать? А я вам вот что скажу. Так чиста моя совесть в этом деле, что я и теперь иногда от всей души жалею, что не умер я после того, как скомандовал последний залп. И ни малейшего у меня нет сомнения, что умри я тогда — прямо предстал бы перед Всевышнего со своими тридцатью семью убитыми казаками и заняли бы мы свое место в раю рядом с добрым евангельским разбойником. Ведь недаром он там в Евангелии стоит.

181 Князь. Да. Но только вы уж, наверное, не найдете в Евангелии, чтобы доброму разбойнику могли уподобляться только наши единоземцы и единоверцы, а не люди всех народов и религий.

182 Генерал. Да что вы на меня, как на мертвого, несете! Когда я различал в этом деле народности и религии? Разве армяне мне земляки и единоверцы? И разве я спрашивал, какой веры или какого племени то чертово отродье, которое я разнес картечью?

183 Князь. Но вы вот и до сих пор не успели вспомнить, что это самое чертово отродье — все-таки люди, что во всяком человеке есть добро и зло и что всякий разбойник, будь он казак или башибузук, может оказаться добрым евангельским разбойником.

184 Генерал. Ну, разбери вас тут! То вы говорили, что злой человек есть то же, что зверь безответственный, то теперь, по-вашему, башибузук, поджаривающий младенцев, может оказаться добрым евангельским разбойником! И все это единственно для того, чтобы как-нибудь зла пальцем не тронуть. А по-моему, важно не то, что во всяком человеке есть зачатки и добра и зла, а то, что из двух в ком пересилило. Не то интересно, что из всякого виноградного сока можно и вино, и уксус сделать, а важно, что именно вот в этой-то бутылке заключается — вино или уксус. Потому что если это уксус, а я стану его пить стаканами и других угощать под тем же предлогом, что это из того же материала, что и вино, то ведь, кроме порчи желудков, я этой мудростью никакой услуги никому не окажу. Все люди — братья. Прекрасно. Очень рад. Ну а дальше-то что? Ведь братья-то бывают разные. И почему же мне не поинтересоваться, кто из моих братьев Каин и кто Авель? А если на моих глазах брат мой Каин

дерет шкуру с брата моего Авеля и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрещину, чтоб ему больше не до озорства было, — вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл. Отлично помню, поэтому и вмешался, а если бы не помнил, то мог бы спокойно мимо пройти.

185 Князь. Но откуда же такая дилемма: или мимо пройти, или затрещину дать?

186 Генерал. Да третьего-то исхода чаще всего и не найдете в таких случаях. Вот вы предлагали бы молиться Богу о прямом вмешательстве, чтобы Он, значит, мгновенно и собственною десницей всякого чертова сына в разум привел, — так вы сами, кажется, от этого способа отказались. А я скажу, что этот способ при всяком деле хорош, но никакого дела заменить собою не может. Ведь вот благочестивые люди и перед обедом молятся, а жевать-то жуют сами, собственными челюстями. Ведь и я не без молитвы конною артиллерией-то командовал.

187 Князь. Такая молитва, конечно, есть кощунство. Нужно не молиться Богу, а действовать по-Божьи.

188 Генерал. То есть?

189 Князь. Кто в самом деле исполнен истинным духом евангельским, тот найдет в себе, когда нужно, способность и словами, и жестами, и всем своим видом так подействовать на несчастного темного брата, желающего совершить убийство или какое-нибудь другое зло, — сумеет произвести на него такое потрясающее впечатление, что он сразу постигнет свою ошибку и откажется от своего ложного пути.

190 Генерал. Святые угодники! Это перед башибузуками-то, что младенцев поджаривали, я,

по-вашему, должен был проделывать трогательные жесты и говорить трогательные слова?

191 Г. Z. Слова-то по дальности расстояния и но взаимному незнанию языков были бы тут, пожалуй, вполне неуместны. А что касается до жестов, производящих потрясающее впечатление, то лучше залпов картечи, воля ваша, для данных обстоятельств ничего не придумаешь.

192 Дама. В самом деле, на каком языке и с помощью каких инструментов объяснялся бы генерал с башибузуками?

193 Князь. Я вовсе не говорил, чтобы вот они могли подействовать по-евангельски на башибузуков. Я только сказал, что человек, исполненный истинного евангельского духа, нашел бы возможность и в этом случае, как и во всяком другом, пробудить в темных душах то добро, которое таится во всяком человеческом существе.

194 Г. Z. Вы в самом деле так думаете?

195 Князь. Нисколько в этом не сомневаюсь.

196 Г. Z. Ну а думаете ли вы, что Христос достаточно был проникнут истинным евангельским духом или нет?

197 Князь. Что за вопрос!

198 Г. Z. А то, что если я желаю знать: почему же Христос не подействовал силою евангельского духа, чтобы пробудить доброе, сокрытое в душах Иуды, Ирода, еврейских первосвященников и, наконец, того злого разбойника, о котором обыкновенно как-то совсем забывают, когда говорят о его добром товарище? Для положительного-то христианского воззрения

непреодолимой трудности тут нет. Ну а вам чем-нибудь из двух уж непременно тут нужно пожертвовать: или вашею привычкой ссылаться на Христа и на Евангелие как на высший авторитет или вашим моральным оптимизмом. Потому что третий, довольно-таки изъезженный путь — отрицание самого евангельского факта как позднейшей выдумки или "жреческого" истолкования — в настоящем случае для вас совершенно закрыт. Как бы вы ни искажали и ни обрубали для своей цели текст четырех Евангелий, главное-то в нем для нашего вопроса останется все-таки бесспорным, а именно, что Христос подвергся жестокому преследованию и смертной казни по злобе своих врагов. Что Он сам оставался нравственно выше всего этого, что Он не хотел сопротивляться и простил своих врагов — это одинаково понятно как с моей, так и с вашей точки зрения. Но почему же, прощая своих врагов, Он (говоря вашими словами) не избавил их душ от той ужасной тьмы, в которой они находились? Почему Он не победил их злобы силою своей кротости? Почему Он не пробудил дремавшего в них добра, не просветил и не возродил их духовно? Одним словом, почему Он не подействовал на Иуду, Ирода, иудейских первосвященников так, как Он подействовал на одного только доброго разбойника? Опять-таки или не мог, или не хотел. В обоих случаях выходит, по-вашему, что Он не был достаточно проникнут истинным евангельским духом, а так как дело идет, если не ошибаюсь, о Евангелии Христовом, а не чьем-нибудь другом, то у вас оказывается, что Христос не был достаточно проникнут истинным духом Христовым, с чем я вас и поздравляю.

[199] Князь. Ну, соперничать с вами в словесном фехтовании я не стану, как не стал бы состязаться с генералом в фехтовании на "христолюбивых" шпагах...

200 (Тут князь встал с места и хотел, очевидно, сказать что-то очень сильное, чтобы одним ударом, без фехтования, сразить противника, но на ближней колокольне пробило семь часов.)

201 Дама. Пора обедать! И нельзя второпях оканчивать такой спор. После обеда наша партия в винт, но завтра непременно, непременно должен продолжаться этот разговор. (К политику.) Вы согласны?

202 Политик. На продолжение этого разговора? А я так обрадовался его концу! Ведь спор решительно принимал довольно неприятный специфический запах религиозных войн! Совсем не по сезону. А мне моя жизнь все-таки всего дороже.

203 Дама. Не притворяйтесь. И вы непременно, непременно должны принять участие. А то, что это: растянулись каким-то действительным тайным Мефистофелем!

204 Политик. Завтра, пожалуй, я согласен разговаривать, но только с условием, чтобы религии было поменьше. Я не требую, чтобы ее изгнать совсем, так как это, кажется, невозможно. Но только поменьше, ради Бога, поменьше!

205 Дама. Ваше "ради Бога" в этом случае очень мило!

206 Г. Z. (к политику). Но ведь лучшее средство, чтобы религии было как можно меньше, — это вам говорить как можно больше.

207 Политик. И обещаюсь! Хотя слушать все-таки приятнее, чем говорить, особенно в этом благорастворении воздухов, но для спасения нашего маленького общества от междоусобной брани, что могло

бы отразиться пагубным образом и на винте, готов на два часа пожертвовать собою.

208 Дама. Отлично! А послезавтра — конец спора о Евангелии. Князь успеет приготовить какое-нибудь совсем непобедимое возражение. Только и вы должны присутствовать. Нужно же немного к духовным предметам приучаться.

209 Политик. Еще и послезавтра? Ну, нет! Так далеко мое самопожертвование не идет, к тому же мне нужно послезавтра ехать в Ниццу.

210 Дама. В Ниццу? Какая наивная дипломатия! Ведь это бесполезно: ваш шифр давно разобран, и всякий знает, что когда вы говорите: "Нужно в Ниццу", то это значит: "Хочу кутить в Монте-Карло". Что ж? Послезавтра обойдемся и без вас. Погрязайте в материи, если не боитесь, что сами через несколько времени духом станете. Ступайте в Монте-Карло. И пусть Провидение воздаст вам по вашим заслугам!

211 Политик. Ну, заслуги мои касаются не Провидения, а только проведения необходимых мероприятий. А вот удачу и маленький расчет — это я допускаю — в рулетке, как и во всем другом.

212 Дама. Только завтра-то уж мы непременно должны собраться все вместе.

Разговор второй

[1] Audiatur et altera pars

[2] На другой день, в назначенный предобеденный час, я был вместе с прочими за чайным столом под пальмами. Недоставало только князя, которого пришлось подождать. Не играя в карты, я вечером же записал весь этот второй разговор с самого начала. "Политик" говорил на этот раз так много и так "протяженно-сложенно ткал" свои фразы, что записать все с буквальною точностью было невозможно. Я привел достаточное количество его подлинных изречений и старался сохранить общий тон, но, разумеется, во многих случаях мог лишь передать своими словами сущность его речи.

[3] Политик . Давно уж я замечал одну странность: люди, сделавшие себе особого конька из высшей какой-то морали, никак не могут овладеть самою простою и необходимою, а по-моему, даже единственно необходимою добродетелью — вежливостью. Поэтому остается только благодарить Создателя, что у нас сравнительно так мало лиц, одержимых этою идеей высшей морали — говорю идеей, потому что действительности-то я никогда не встречал и не имею никакой причины верить в существование подобной вещи.

[4] Дама. Ну, это старо, а вот о вежливости есть правда в том, что сказали. Попробуйте-ка, покуда не пришел le sujet eu guestion, доказать, что вежливость — единственно необходимая добродетель, — так, слегка доказать, как пробуют инструменты в оркестре перед началом увертюры.

[5] Политик. Да, в таких случаях раздаются только отдельные звуки. Такая монотонность будет и теперь, потому что едва ли кто станет защищать другое мнение, т.е. до прихода князя, ну а при нем говорить о вежливости было бы сегодня не совсем вежливо.

[6] Дама. Конечно. Ну а ваши доказательства?

[7] Политик. Вы согласитесь, я думаю, что можно отлично существовать в таком обществе, где нет ни одного целомудренного, ни одного бескорыстного, ни одного самоотверженного человека. Я, по крайней мере, всегда недурно устраивался в таких компаниях...

[8] Дама. Например, в Монте-Карло.

[9] Политик. И в Монте-Карло, и во всех других местах. Нигде не ощущается потребности хотя бы в едином представителе высшей добродетели. Ну а попробуйте-ка прожить в таком обществе, где не было бы ни одного вежливого человека.

[10] Генерал. Не знаю, про какие кампании вы изволите говорить, но вот в хивинской кампании или в турецкой едва ли можно было обойтись без некоторых других добродетелей, помимо вежливости.

[11] Политик. Еще бы вы сказали, что для путешествующих через Среднюю Африку нужна не одна вежливость. Я ведь говорю о правильной повседневной жизни в культурном человеческом обществе. Вот для нее никаких высших добродетелей и никакого так называемого христианства не нужно. (К г . Z.) Вы качаете головой?

[12] Г. Z. Я вспомнил об одном печальном происшествии, о котором меня на днях известили.

[13] Дама. Что такое?

[14] Г. Z. Мой друг N внезапно умер.

[15] Генерал. Это известный романист?

[16] Г. Z. Он самый.

[17] Политик. Да, об его смерти в газетах писали как-то глухо.

[18] Г. Z. То-то и есть, что глухо.

[19] Дама. Но почему же вы именно в эту минуту вспомнили? Разве он умер от чьей-нибудь невежливости?

[20] Г. Z. Наоборот, от своей собственной чрезмерной вежливости и больше ни от чего.

[21] Генерал. Вот и по этому пункту единомыслия у нас, как видно, не оказывается.

[22] Дама. Расскажите, если можно.

[23] Г. Z. Да, тут скрывать нечего. Мой друг, думавший также, что вежливость есть хотя и не единственная добродетель, но во всяком случае первая необходимая ступень общественной нравственности, считал своею обязанностью строжайшим образом исполнять все ее требования. А сюда он относил, между прочим, следующее: читать все получаемые им письма, хотя бы от незнакомых, а также все книги и брошюры, присылаемые ему с требованием рецензий; на каждое письмо отвечать и все требуемые рецензии писать; старательно вообще исполнять все обращенные к нему просьбы и ходатайства, вследствие чего он был весь день в хлопотах и по чужим делам, а на свои собственные оставлял только ночи; далее — принимать все приглашения, а также всех посетителей, заставших его дома. Пока мой друг был молод и мог легко переносить крепкие напитки, каторжная жизнь, которую

он себе создал вследствие своей вежливости, хотя и удручала его, но не переходила в трагедию: вино веселило его сердце и спасало от отчаяния. Уже готовый взяться за веревку, он брался за бутылку и, потянувши из нее, бодрее тянул и свою цепь. Но здоровья он был слабого и в 45 лет должен был отказаться от крепких напитков. В трезвом состоянии его каторга показалась ему адом, и вот теперь меня извещают, что он покончил с собою.

[24] Дама. Как! Из-за одной только вежливости?! Да он был просто сумасшедший.

[25] Г. Z. Несомненно, что он потерял душевное равновесие, но думаю, что слово "просто" тут менее всего подходит.

[26] Генерал. Да, и я такие случаи сумасшествия видал, что ежели их хорошенько разобрать, то сам, пожалуй, с ума сойдешь, — так оно не просто.

[27] Политик. Но во всяком случае ясно, что вежливость-то тут ни при чем. Как испанский престол не виноват в сумасшествии титулярного советника Поприщина, так обязанность вежливости не причастна сумасшествию вашего друга.

[28] Г. Z. Конечно, да я ведь не против вежливости, а только против ее возведения в какое-то абсолютное правило.

[29] Политик. Абсолютное правило, как и всякий абсолют, есть только выдумка людей, лишенных здравого смысла и чувства живой действительности. Никаких абсолютных правил я не принимаю, а принимаю только правила необходимые. Я, например, отлично знаю, что если я не буду соблюдать правил опрятности, то это будет гадко и мне самому, и другим. Не желая испытывать и возбуждать неприятных ощущений, я ненарушимо держусь правила каждый день умываться, менять белье и т.п. не потому,

что это принято другими или мною самим или составляет что-нибудь священное, что нарушать грех, а просто потому, что нарушение этого правила было бы ipso facto матерьяльно неудобно. Точно то же и о вежливости вообще, куда, собственно, входит и опрятность как часть. Мне, как и всякому, гораздо удобнее исполнять, чем нарушать, правила вежливости — я их и исполняю. Но вольно же было вашему другу воображать, что вежливость требует от него отвечать на все письма и просьбы без разбора удобств и выгод, — это уж не вежливость, а какое-то нелепое самопожертвование.

[30] Г. Z. Непременно развитая совестливость перешла у него в манию, которая и погубила его.

[31] Дама. Но это ужасно, что человек погиб из-за такой глупости. Неужели вы не могли его образумить?

[32] Г. Z. Старался всячески и имел очень сильного союзника в одном афонском страннике, полуюродивом, но очень замечательном. Мой друг его очень уважал и часто советовался с ним по духовным делам. Тот сразу заметил, в чем тут корень зла. Я хорошо знаю этого странника, и мне иногда случалось присутствовать при их беседах. Когда мой друг начинал сообщать ему свои нравственные сомнения — прав ли он был в этом, не погрешил ли в том, Варсонофий сейчас прерывал его: "Э-е, насчет грехов своих сокрушаешься — брось, пустое! Вот как я тебе скажу: в день 539 раз греши, да, главное, не кайся, потому согрешить и покаяться — это всякий может, а ты греши постоянно и не кайся никогда; потому ежели грех — зло, то ведь зло помнить — значит быть злопамятным, и этого никто не похвалит. И самое, что ни на есть, худшее злопамятство — свои грехи помнить. Уж лучше ты помни то зло, что тебе другие сделают, — в этом есть польза:

вперед таких людей остерегаться будешь, а свое зло — забудь о нем и думать, чтоб вовсе его не было. Грех один только и есть смертный — уныние, потому что из него рождается отчаяние, а отчаяние — это уже, собственно, и не грех, а сама смерть духовная. Ну а какие еще там грехи? Пьянство, что ли? Так ведь умный человек пьет, поколику вмещает, он безместно пить не будет, а дурак — тот и ключевою водой обопьется, значит, тут сила не в вине, а в безумии. Иные по безумию и сгорят от водки, не то что одним нутром, а так, что и снаружи весь почернеет, и огоньки по нем пойдут, — сам своими глазами видел, — так тут уж о каком грехе говорить, когда из тебя сама геенна огненная воочию проступает. — Насчет этих разных нарушений седьмой заповеди по совести скажу; судить мудрено, а похвалить никак не возможно. Нет, не рекомендую! Конечно, оно удовольствие пронзительное — это что и толковать, — ну а наконец того — унылое и жизнь сокращает. Ежели мне не веришь, посмотри вот, что ученый немецкий доктор пишет". — И Варсонофий брал с полки книгу старинного вида и начинал ее перелистывать. "Одно, брат, заглавие чего стоит! Ма-кро-би-отика Гу-фе-ланда! Вот смотри-ка тут на странице 176..." — И он с расстановками прочитывал страницу, где немецкий автор усердно предостерегает от нерасчетливой траты жизненных сил. "Вот видишь! Так из-за чего же умному человеку в убыток-то входить? В молодую-то, несмысленую пору оно, конечно, и невесть что мерещится: ну а потом — нет! себе дороже. А чтобы, значит, прежнее все вспомнить да сокрушаться: зачем, мол, я, окаянный, невинности своей лишился, чистоту душевную и телесную потерял? — так это, я тебе скажу, одна чистая глупость, это значит себя прямо-таки дьяволу в шуты отдавать. Ему-то, конечно,

лестно, чтобы твоя душа вперед и вверх не шла, а все бы на одном грязном месте топталась. А вот тебе мой совет: как начнет он тебя этим самым раскаянием смущать, ты плюнь да разотри — вот, мол, и все мои грехи тяжкие — так они для меня необнакновенно важны! Небось отстанет! — по опыту говорю. Ну а еще там какие за тобой беззакония? Воровать, чай, не станешь? А ежели и украл — невелика беда: ныне все воруют. Так, значит, ты об таких пустяках и не думай, а берегись только одного — уныния. Придут мысли о грехах, что, мол, не обидел ли кого чем, так ты в театр, что ли, сходи, или в компанию какую-нибудь веселую, или листы какие-нибудь скоморошеские почитай. А хочешь от меня непременно правила, так вот тебе и правило: в вере будь тверд не по страху грехов, а потому, что уж очень приятно умному человеку с Богом жить, а без Бога-то довольно пакостно; в слово Божие вникай, ведь его если с толком читать, что ни стих — как рублем подарит; молись ежедневно хоть раз или два с чувством. Умываться-то небось не забываешь, а молитва искренняя для души лучше всякого мыла. Постись для здоровья желудка и прочих внутренностей — теперь все доктора советуют после сорока лет; о чужих делах не думай и благотворительностью не занимайся, если свое дело есть; а встречным бедным давай, не считая; на церкви и монастыри тоже жертвуй без счета — там уж в небесном контроле все сами подсчитают, — ну, и будешь ты здрав и душою, и телом, а с ханжами какими-нибудь, что в чужую душу залезают, потому что в своей пусто, с такими ты и не разговаривай". Подобные речи производили хорошее действие на моего друга, но не могли до конца одолеть наплыва гнетущих впечатлений, да в последнее время он редко и видался с Варсонофием.

[33] Политик. А ведь этот ваш странник по-своему говорит в сущности почти то же, что и я.

[34] Дама. Тем лучше. Но какой удивительный в самом деле моралист! Греши и, главное, не кайся, — мне это очень нравится.

[35] Генерал. Ведь, я думаю, не всем же он это говорит. Какого-нибудь душегубца или пакостника, наверно, в другом тоне поучает.

[36] Г. Z. Ну, конечно. Но как только заметит нравственную мнительность, сейчас философом становится и даже фаталистом. Одну очень умную образованную старушку он привел в восхищение. Она была хоть и русской веры, но заграничного воспитания и, много наслышавшись о нашем Варсонофии, отнеслась было к нему как бы к directeur de conscience, но он ей не дал много говорить о своих душевных затруднениях. "Да из-за чего ты этакою дрянью себя беспокоишь! Кому это нужно? Вот и мне, простому мужику, скучно тебя слушать, а неужто ты думаешь, что Богу-то интересно! И о чем тут толковать: ты стара, ты слаба и никогда лучше не будешь". Она мне — это со смехом и со слезами на глазах рассказывала; впрочем, она пробовала ему возражать, но он ее окончательно убедил одним рассказом из жизни древних отшельников — Варсонофий и нам с N часто его рассказывал. Хороший рассказ, только, пожалуй, долго будет теперь его передавать.

[37] Дама. А вы расскажите коротко.

[38] Г. Z. Постараюсь. В Нитрийской пустыне спасались два отшельника. Пещеры их были в недалеком расстоянии, но они никогда не разговаривали между собою, разве только псалмами иногда перекликаются. Так провели они много

лет, и слава их стала распространяться по Египту и по окрестным странам. И вот однажды удалось диаволу вложить им в душу, обоим зараз, одно намерение, и они, не говоря друг другу ни слова, забрали свою работу — корзинки и постилки из пальмовых листьев и ветвей — и отправились вместе в Александрию. Там они продали свою работу и затем три дня и три ночи кутили с пьяницами и блудницами, после чего пошли назад в свою пустыню. Один из них горько рыдал и сокрушался:

39 — Погиб я теперь совсем, окаянный! Такого неистовства, такой скверны ничем не замолишь. Пропали теперь даром все мои посты, и бдения, и молитвы — зараз все безвозвратно погубил!

40 А другой с ним рядом идет и радостным голосом псалмы распевает.

41 — Да что ты, обезумел, что ли?

42 — А что?

43 — Да что ж ты не сокрушаешься?

44 — А о чем мне сокрушаться?

45 — Как! А Александрия?

46 — Что ж Александрия? Слава Всевышнему, хранящему сей знаменитый и благочестивый град!

47 — Да мы-то что делали в Александрии?

48 — Известно, что делали: корзины продавали, святому Марку поклонились, прочие храмы посещали, в палаты к благочестивому градоправителю заходили, с монахолюбивою домною Леониллою беседовали…

49 — Да ночевали-то мы разве не в блудилище?

[50] — Храни Бог! Вечер и ночь проводили мы на патриаршем дворе.

[51] — Святые мученики! Он лишился рассудка... Да вином-то мы где упивались?

[52] — Вина и яств вкушали мы от патриаршей трапезы по случаю праздника Введения во храм Пресвятыя Богородицы.

[53] — Несчастный! А целовался-то с нами кто, чтобы о горшем умолчать?

[54] — А лобзанием святым почтил нас на расставании отец отцов, блаженнейший архиепископ великого града Александрии и всего Египта, Ливии же и Пентаполя и судия вселенной, Кир-Тимофей, со всеми отцами и братьями его богоизбранного клира.

[55] — Да что ты, насмехаешься, что ли, надо мной? Или за вчерашние мерзости в тебя сам диавол вселился? С блудницами сквернымi целовался ты, окаянный!

[56] — Ну, не знаю, в кого вселился диавол: в меня ли, когда я радуюсь дарам Божиим и благоволению к нам мужей священноначальных и хвалю Создателя вместе со всею тварью, или в тебя, когда ты здесь беснуешься и дом блаженнейшего отца нашего и пастыря называешь блудилищем, а его самого и боголюбезный клир его — позоришь, яко бы сущих блудниц.

[57] — Ах ты, еретик! Ариево отродье! Аполлинария мерзкого всеклятые уста!

[58] И сокрушавшийся о своем грехопадении отшельник бросился на своего товарища и стал изо всех сил его бить. После этого они молча пошли к своим пещерам. Один всю ночь убивался, оглашая пустыню стонами и воплями, рвал

на себе волосы, бросался на землю и колотился об нее головой, другой же спокойно и радостно распевал псалмы. Наутро кающемуся пришла в голову мысль: так как я долголетним подвигом уже стяжал особую благодать Святого Духа, которая уже начала проявляться в чудесах и знамениях, то после этого, отдавшись плотской мерзости, я совершил грех против Духа Святого, что, по слову Божию, не прощается ни в сем веке, ни в будущем. Я бросил жемчужину небесной чистоты мысленным свиниям, т.е. бесам, они потоптали ее и теперь, наверное, обратившись, растерзают меня. Но если я во всяком случае окончательно погиб, то что же я буду делать тут, в пустыне? И он пошел в Александрию и предался распутной жизни. Когда же ему понадобились деньги, то он, в сообщничестве с другими такими же гуляками, убил и ограбил богатого купца. Дело открылось, он был подвергнут градскому суду и, приговоренный к смертной казни, умер без покаяния. А между тем его прежний товарищ, продолжая свое подвижничество, достиг высшей степени святости и прославился великими чудесами, так что по одному его слову многолетне-бесплодные женщины зачинали и рожали детей мужеского пола. Когда пришел день его кончины, изможденное и засохшее его тело вдруг как бы расцвело красотою и молодостью, просияло и наполнило воздух благоуханием. По смерти над его чудотворными мощами создался монастырь, и имя его перешло из Александрийской церкви в Византию, а оттуда попало в киевские и московские святцы. "Вот, значит, и правду я говорю, — прибавлял Варсонофий, — все грехи не беда, кроме одного только — уныния: прочие-то все беззакония они совершали оба вместе, а погиб-то один, который унывал".

[59] Генерал. Видите: и для монахов бодрость духа нужна, а теперь вот хотят на военных уныние напускать.

[60] Г. Z. Вот мы, значит, от вопроса о вежливости хотя удалились, зато к главному-то нашему предмету опять приблизились.

[61] Дама. А кстати, наконец и князь идет. Здравствуйте! А мы без вас о вежливости говорили.

[62] Князь. Извините, пожалуйста, никак нельзя было раньше выбраться. Получил целую кипу разных бумаг от наших и разные издания, потом покажу.

[63] Дама. Ну, хорошо, а я вам потом расскажу священный анекдот о двух монахах, которым мы тоже утешались в ваше отсутствие, а теперь слово принадлежит нашему действительному тайному монтекарлисту. Ну, излагайте, что вы после вчерашнего разговора скажете о войне.

[64] Политик. Из вчерашнего разговора у меня осталось в памяти вот их ссылка на Владимира Мономаха да военный рассказ генерала. Это пусть и будет исходною точкой для дальнейшего обсуждения вопроса. — Невозможно спорить против того, что Владимир Мономах хорошо делал, когда громил половцев, и что генерал хорошо сделал, что перебил башибузуков.

[65] Дама. Значит, вы согласны?

[66] Политик. Я согласен с тем, о чем вот и имею честь вам докладывать, а именно, что и Мономах, и генерал действовали так, как в данном положении им должно было действовать; но что же отсюда следует для оценки самого этого положения, или для оправдания и увековечения войны и милитаризма?

[67] Князь. Вот именно я это и говорю.

[68] Дама. Теперь уж вы, значит, с князем согласны?

[69] Политик. Если вы мне позволите объяснить мой взгляд на предмет, то само собою будет видно, с кем и в чем я согласен. Мой взгляд есть только логический вывод из несомненной действительности и фактов истории. Разве можно спорить против исторического значения войны как главного, если не единственного средства, которым создавалось и упрочивалось государство? Укажите мне хоть одно такое государство, которое было бы создано и закреплено помимо войны.

[70] Дама. А Северная Америка?

[71] Политик. Спасибо за отличный пример. Я здесь говорю о создании государства. Конечно, Северная Америка как европейская колония была создана, подобно всем прочим колониям, не войною, а мореплаванием, но, как только эта колония захотела быть государством, так ей пришлось долголетнею войною добывать свою политическую независимость.

[72] Князь. Из того, что государство создавалось посредством войны, что, конечно, неоспоримо, вы, по-видимому, заключаете о важности войны, а по-моему, из этого можно заключать только о неважности государства — разумеется, для людей, отказавшихся от поклонения насилию.

[73] Политик. Сейчас и поклонение насилию! Зачем это? А вы лучше попробуйте-ка устроить прочное человеческое общежитие вне принудительных государственных форм или хоть сами на деле откажитесь от всего, что на них держится, — тогда и говорите о неважности государства. Ну а до тех пор государство и все то, чем мы с вами ему обязаны, остается огромным фактом, а ваши нападения

на него остаются маленькими словами. — Итак, повторяю: великое историческое значение войны как главного условия при создании государства — вне вопроса; но я спрашиваю: самое это великое дело созидания государства разве не должно считаться завершенным в существенных чертах? А подробности, конечно, могут быть улажены и без такого героического средства, как война. В древности и в средние века, когда мир европейской культуры был лишь островом среди океана более или менее диких племен, военный строй требовался прямо самосохранением. Было нужно всегда быть наготове к отражению каких-нибудь орд, устремлявшихся неведомо откуда, чтобы потоптать слабые ростки цивилизации. Но теперь островами можно назвать только неевропейские элементы, а европейская культура стала океаном, размывающим эти острова. Наши ученые, авантюристы и миссионеры весь земной шар обшарили и ничего грозящего серьезною опасностью для культурного мира не нашли. Дикари весьма успешно истребляются и вымирают, а воинственные варвары, как турки или японцы, цивилизуются и теряют свою воинственность. Между тем объединение европейских наций в общей культурной жизни...

[74] Дама (вполголоса). Монте-Карло...

[75] Политик. В общей культурной жизни так усилилось, что война между этими нациями прямо имела бы характер междоусобия, во всех отношениях непростительного при возможности мирного улажения международных споров. Решать их войною в настоящее время было бы так же фантастично, как приехать из Петербурга в Марсель на парусном судне или в тарантасе на тройке, хотя я совершенно согласен, что "белеет парус

одинокий" и "вот мчится тройка удалая" гораздо поэтичнее, чем свистки парохода или крики "en voiture, messieurs!". Точно так же я готов признать эстетическое преимущество и "стальной щетины" и, "колыхаясь и сверкая, движутся полки" перед портфелями дипломатов и суконными столами мирных конгрессов, но серьезная постановка такого жизненного вопроса, очевидно, не должна иметь ничего общего с эстетической оценкой той красоты, которая принадлежит ведь не реальной войне, — это, уверяю вас, вовсе не красиво, — а лишь ее отражению в фантазии поэта или художника; и раз все начинают понимать, что война при всей своей интересности для поэзии и живописи — они ведь могут и прошедшими войнами довольствоваться — вовсе теперь не нужна, потому что невыгодна, так как это слишком дорогое, да и рискованное средство для таких целей, которые могут быть достигнуты дешевле и вернее иным путем, — то, значит, военный период истории кончился. Говорю, разумеется, en grand. О каком-нибудь немедленном разоружении не может быть и речи, но я твердо уверен, что ни. мы, ни наши дети больших войн — настоящих европейских войн — не увидим, а внуки наши и о маленьких войнах — где-нибудь в Азии или Африке — также будут знать только из исторических сочинений.

[76] Так вот мой ответ насчет Владимира Мономаха: когда приходилось ограждать будущность новорожденного русского государства от половцев, потом от татар и т.д., война была самым необходимым и важным делом. То же до некоторой степени можно сказать про эпоху Петра Великого, когда нужно было обеспечить будущность России как державы европейской. Но затем значение войны становится все более и более подлежащим вопросу, и в настоящее время, как я сказал, военный период

истории кончился в России, как и везде. Ведь то, что сейчас было мною сказано о нашем отечестве, применимо — конечно, mutatis mutandis — и к другим европейским странам. Везде война была некогда главным и неизбежным средством для ограждения и упрочения государственного и национального бытия, — и везде с достижением этой цели она теряет смысл.

[77] Сказать в скобках, меня удивляет, что некоторые современные философы трактуют о смысле войны безотносительно ко времени. Имеет ли смысл война? G'est selon. Вчера, может быть, имела смысл везде, сегодня имеет смысл только где-нибудь в Африке или в Средней Азии, где еще остались дикари, а завтра не будет иметь смысла нигде. — Замечательно, что параллельно потере своего практического смысла война теряет, хотя и медленно, свой мистический ореол. Это видно даже у такого отсталого в массе своей народа, как наш. Посудите сами: вот генерал намедни с торжеством указывал, что все святые у нас если не монахи, то военные. Но я вас спрашиваю: к какой именно исторической эпохе относится вся эта военная святость или святая военщина? Не к той ли самой, когда война действительно была необходимейшим, спасительным и, если хотите, святым делом? Наши святые воители были все князья киевской и монгольской эпохи, а генерал-лейтенантов или даже генерал-поручиков между ними я что-то не припомню. Что же это значит? Из двух знаменитых военных, при одинаковых личных правах на святость, за одним она признана, за другим — нет. Почему? Почему, я спрашиваю. Александр Невский, бивший ливонцев и шведов в тринадцатом веке, — святой, а Александр Суворов, бивший турок и французов в восемнадцатом, — не святой? Ни в чем, противном святости, Суворова

упрекнуть нельзя. Он был искренно благочестив, громогласно пел на клиросе и читал с амвона, жизнь вел безупречную, даже ничьим любовником не был, а юродства его, конечно, составляют не препятствие, а скорее лишний аргумент для его канонизации. Но дело в том, что Александр Невский сражался за национально-политическую будущность своего отечества, которое, разгромленное уже наполовину с востока, едва ли бы устояло при новом разгроме с запада, — инстинктивный смысл народа понимал жизненную важность положения и дал этому князю самую высокую награду, какую только мог представить, причислив его к святым. Ну а подвиги Суворова, хотя несравненно более значительные в смысле военном, — особенно его Аннибаловский поход через Альпы — не отвечали никакой настоятельной потребности, — спасать Россию ему не приходилось, ну, он и остался только военною знаменитостью.

[78] Дама. А вот полководцы двенадцатого года хотя и спасали Россию от Наполеона, однако в святые тоже ведь не попали?

[79] Политик. Н-но, спасение России от Наполеона — это патриотическая риторика. Не съел бы он нас, да и не собирался съесть. Что мы под конец одолели его — это, разумеется, показало нашу народно-государственную силу и высоко подняло наше национальное самочувствие, но, чтобы в 12-м году война вызывалась какою-нибудь настоятельною необходимостью, с этим я никогда не соглашусь! Отлично можно было столковаться с Наполеоном — ну а дразнить его, конечно, нельзя было без большого риска, а хотя риск вышел удачен и конец войны был очень лестным для нашего национального

самолюбия, но дальнейшие ее последствия едва ли можно признать действительно полезными. Если два силача ни с того ни с сего подерутся между собою и один одолеет другого не без вреда для обоюдного здоровья, то я хотя и скажу про победителя: молодец! — но необходимость именно такого проявления молодечества останется для меня темною. Слава 12-го года, проявленные тогда национальные доблести остаются при нас, каковы бы ни были причины войны.

[80] Еще двенадцатого года Была жива святая быль...

[81] Прекрасно для поэзии: "святая быль"! Но я смотрю на то, что из этой были вышло, и вижу: архимандрита Фотия, Магницкого, Аракчеева, с одной стороны, заговор декабристов — с другой, и en somme тот тридцатилетний режим запоздалого милитаризма, что привел к севастопольскому погрому.

[82] Дама. А Пушкин?

[83] Политик. Пушкин?.. Почему Пушкин?

[84] Дама. А я недавно прочла в газетах, что национальная поэзия Пушкина порождена военною славой 12-го года.

[85] Г. Z. Не без особого участия артиллерии, как видно из фамилии поэта.

[86] Политик. Да, разве что так. Продолжаю. В последующие времена бесполезность, ненужность наших войн становится все яснее и яснее. Крымскую войну у нас очень ценят, так как думают, что ее неудачный исход вызвал освобождение крестьян и прочие реформы Александра II. Если и так, то ведь благие последствия войны неудачной, и именно только как неудачной, не составляют, конечно, апологии войны вообще. Если я без

достаточной причины стану прыгать с балкона и вывихну себе руку, а этот вывих вовремя удержит меня от подписания разорительного векселя, то я потом буду рад, что так случилось, но не стану утверждать, что вообще нужно прыгать с балкона, а не сходить с него по лестнице. Ведь при неповрежденной-то голове нет надобности в повреждении руки, чтобы не подписывать разорительных сделок: одно и то же благоразумие предохранит зараз и от нелепых скачков с балкона, и от нелепых подписей. Я думаю, что и без Крымской войны реформы Александра II были бы, вероятно, произведены, и, пожалуй, более прочным и многосторонним образом. Но доказывать этого не стану, чтобы не удаляться от нашего предмета. Во всяком случае политические деяния нельзя оценивать по их косвенным и непредвиденным последствиям, сама же по себе Крымская война, т. е. начало ее, наступление нашей армии на Дунай в 1853 г., не имеет разумного оправдания. Я не могу назвать здравою политикой такую, что сегодня спасает Турцию от разгрома Мехмет-Али-пашой египетским, препятствуя таким образом раздвоению мусульманского мира около двух центров, Стамбула и Каира, в чем для нас, кажется, очень большой беды не было бы, а на другой день собирается разгромить ту же, спасенную и усиленную Турцию с риском наткнуться на европейскую коалицию. Это не политика, а донкихотство какое-то. Не иначе назову я — прошу прощения у генерала — и нашу последнюю турецкую войну.

[87] Дама. А башибузуки армянские? Вы же одобрили генерала, что он их истребил.

[88] Политик. Виноват! Я утверждаю, что война в настоящее время стала бесполезною, а давешний рассказ

генерала служит тому лучшею иллюстрацией. Я понимаю, что, очутившись по долгу службы деятельным участником войны и наткнувшись на иррегулярные турецкие войска, производящие возмутительные зверства над мирным населением, всякий..., (смотрит на князя) всякий человек, свободный от предвзятых "абсолютных принципов", должен был и по чувству, и по обязанности беспощадно их истребить, как сделал генерал, а не думать об их нравственном перерождении, как говорит князь. Но я спрашиваю, во-первых, кто же был настоящею причиной всего этого безобразия и, во-вторых, что же достигнуто военным вмешательством? На первый вопрос я по совести могу ответить лишь указанием на ту дурную воинствующую политику, которая, возбуждая страсти и притязания турецкой райи, дразнила турок; болгар ведь стали резать тогда, когда Болгария наполнилась революционными комитетами и туркам пришлось бояться иностранного вмешательства и распадения своего государства. То же самое и в Армении. А на второй вопрос — что из этого вышло? — ответ дан вчерашними событиями такой наглядный, что всякому бросается в глаза. Смотрите сами: в 1877 году наш генерал истребляет несколько тысяч башибузуков и спасает этим, может быть, несколько сотен армян; а в 1895 г. в тех же местах такие же башибузуки вырезывают уже не сотни, а тысячи и, может быть, даже десятки тысяч населения. Если верить разным корреспондентам (хотя я, впрочем, верить им не советую), перерезано было чуть не полмиллиона людей. Ну, это басни. Однако во всяком случае эта армянская резня была значительно грандиознее прежней болгарской. И вот благие результаты нашей патриотической и филантропической войны.

[89] Генерал. Ну, пойми, кто может! То дурная политика виновата, а то патриотическая война. Подумаешь, что князь Горчаков и г-н Гире были военные или что Дизраэли и Бисмарк были русские патриоты и филантропы.

[90] Политик. Неужели мое указание не ясно? Я имею в виду совершенно несомненную связь, — и не отвлеченную какую-нибудь или идеальную, а вполне реальную, прагматическую связь между войною 1877 г., которая сама была следствием нашей дурной политики, и недавними избиениями христиан в Армении. Вам, может быть, известно, а если нет, то полезно будет узнать, что после 1878 г. Турция, увидавши из Сан-Стефанского договора свои будущие перспективы в Европе, решилась хорошенько обеспечить свое существование, по крайней мере в Азии. Прежде всего она заручилась на Берлинском конгрессе английскою гарантией); но, справедливо полагая, что "на Англию надейся, а сам не плошай", турецкое правительство занялось в Армении усилением и устройством своих иррегулярных войск, то есть более или менее тех самых "чертей", с которыми имел дело генерал. Это оказалось весьма основательным: всего через пятнадцать лет после того, как Дизраэли в обмен на остров Кипр гарантировал Турции ее азиатские владения, английская политика вследствие изменившихся обстоятельств стала антитурецкою и армянофильскою, и английские агитаторы появились в Армении, как некогда славянофильские в Болгарии. А вот тут-то знакомые генералу "черти" оказались, что называется, людьми положения и самым исправным образом скушали самую большую порцию христианского мяса, какая только когда-нибудь попадала им в зубы.

[91] Генерал. Слушать противно! И какая же тут война виновата? Побойтесь Бога! Ведь если бы в 1878 г. государственные мужи так же хорошо кончили свое дело, как военные — свое, то ведь ни о каком усилении и устройстве иррегулярных войск в Армении, а следовательно, и ни о каких избиениях и помину не могло бы быть.

[92] Политик. То есть вы разумеете окончательное разрушение Турецкой империи?

[93] Генерал. Да! Хоть я от души люблю и уважаю турок — прекраснейший народ, особенно по сравнению со всеми этими эфиопами разношерстными, — а все-таки, я полагаю, давно пора покончить с этою самою Турецкою империей.

[94] Политик. Я бы ничего не имел против этого, если бы на ее месте эфиопы-то ваши могли образовать свою собственную эфиопскую какую-нибудь империю, а то ведь они умеют только драться между собой, и турецкое правительство так же для них необходимо, как присутствие турецких солдат в Иерусалиме необходимо для мира и благосостояния разных христианских исповеданий в тех местах.

[95] Дама. Ну, я того и ждала, что вы и гроб Господень навсегда туркам отдать хотите.

[96] Политик. И вы, конечно, думаете, что это вследствие моего безбожия или равнодушия? А между тем на самом деле я желаю пребывания турок — в Иерусалиме единственно только в силу маленькой, но неистребимой искры религиозного чувства, которая осталась у меня от детства. Я наверное знаю, что в минуту удаления турецких солдат с иерусалимских караулов все христиане

там перережут друг друга, предварительно истребивши все христианские святыни. Если мои впечатления и заключения кажутся вам подозрительными, спросите у тех паломников, которым доверяете, а то, всего лучше, посмотрите сами.

97 Дама. Ехать в Иерусалим? Ах, нет! Что еще там увидишь... Нет, боюсь, боюсь!

98 Политик. Вот видите!

99 Дама. Но как странно! Вы с генералом спорите, а оба турок превозносите.

100 Политик. Генерал ценит их, вероятно, как бравых солдат, а я — как стражей мира и порядка на Востоке.

101 Дама. Хорош мир и порядок: вдруг несколько десятков тысяч человек перерезать! По-моему, уж лучше какой-нибудь беспорядок.

102 Политик. Как я уже докладывал, избиения были вызваны революционною агитациею. Почему же требовать от турок той высокой степени христианского незлобия и всепрощения, которой не требуют ни от какой другой нации, хотя бы и христианской? Назовите мне, в самом деле, ту страну, где вооруженное восстание усмирялось без жестоких и несправедливых мер. Это, во-первых: зачинщиками избиения были не турки; во-вторых, собственно турки в них мало и участвовали, действуя в большинстве случаев лишь руками генеральских "чертей", ну а в-третьих, я согласен, что, давая волю этим "чертям", турецкое правительство на этот раз пересолило, как пересолил у нас Иван IV, потопивши 10 тысяч мирных новгородцев, как пересаливали комиссары французского конвента своими "ноядами" и "фюзильядами" или англичане в Индии при

усмирении восстания в 1857 году. И все-таки нельзя сомневаться, что если бы разных единоверных и единоплеменных эфиопов, как говорит генерал, предоставить самим себе, то произошло бы гораздо больше резни, чем при турках.

[103] Генерал. Да разве я хочу эфиопов на место Турции поставить? Кажется, дело просто: взять нам Константинополь, взять Иерусалим и вместо Турецкой империи учредить несколько русских военных губерний, как в Самарканде или Асхабаде, — турок, значит, когда положат оружие, всячески ублаготворить и насчет религии, и насчет всего прочего.

[104] Политик. Ну, надеюсь, вы это не серьезно говорите, а то мне пришлось бы усумниться в вашем... патриотизме; ведь если бы мы начали войну с подобными радикальными намерениями, то это, наверное, вызвало бы опять европейскую коалицию, к которой бы под конец пристали и наши эфиопы, освобожденные или намеченные к освобождению. Ведь они хорошо понимают, что под русскою властью им не очень-то будет вольготно проявлять "свою национальную физиономию-ту", как говорят болгары. Ну и кончилось бы тем, что вместо разрушения Турецкой империи повторился бы для нас, en grand, севастопольский погром. Нет, хоть мы нередко вдавались в дурную политику, но я все-таки уверен, что такого безумия, как новая война с Турцией, мы не увидим; а если бы увидели, то всякому патриоту пришлось бы с отчаянием сказать про Россию: quern Deus vult perdere, prius dementat.

[105] Да м а. Что это значит?

[106] Политик. Это значит: кого Бог хочет погубить, сперва лишает разума.

[107] Дама. Ну, история не по вашему разуму делается: вы вот, вероятно, и за Австрию стоите так же, как за Турцию?

[108] Политик. Об этом мне не приходится и распространяться, потому что более меня компетентные люди — национальные вожди Богемии — уже давно объявили: "Если бы Австрии не было, ее надо было бы выдумать". Недавние парламентские побоища в Вене служат прекрасною иллюстрацией этого афоризма и миниатюрным прообразом того, что должно произойти в этих странах с исчезновением империи Габсбургов.

[109] Дама. Ну а что вы скажете о франко-русском союзе? Вы всегда об этом как-то помалчиваете.

[110] Политик. Да я и теперь в подробности этого щекотливого вопроса входить не намерен. Вообще же могу сказать, что сближение с такою прогрессивною и богатою нацией, как Франция, во всяком случае для нас выгодно, а затем ведь этот союз есть, конечно, союз мира и предосторожности: так по крайней мере он понимается в тех высоких местах, где его заключали и поддерживают.

[111] Г. Z. Что касается до моральных и культурных выгод от сближения двух наций — это дело сложное и для меня пока темное. Но со стороны собственно политической не кажется ли вам, что, присоединяясь к одному из двух враждебных лагерей на континенте Европы, мы теряем выгоду своего свободного положения как третьего беспристрастного судьи, или арбитра, между ними, теряем свою сверхпартийность. Пристав к одной стороне и тем уравновесив силы обеих, не создаем ли мы возможность вооруженного столкновения между ними?

Ведь одна Франция не могла бы воевать против Тройственного союза, а вместе с Россией — может.

112 Политик. То, что вы говорите, было бы совершенно верно, если бы у кого-нибудь была охота затевать европейскую войну. Но смею вас уверить, что этого никому не хочется. И во всяком случае для России гораздо легче удержать Францию на пути мира, нежели для Франции — увлечь Россию на путь войны, в сущности одинаково нежелательный для обеих. Всего успокоительнее то, что современные нации не только не хотят, но, главное, перестают уметь воевать.

113 Возьмите хоть последнее столкновение — испано-американское. Ну что же это за война? Нет, я вас спрашиваю: что это за война? Кукольная комедия какая-то, сражение Петрушки Уксусова с квартальным! "После продолжительного и горячего боя неприятель отступил, потерявши одного убитого и двух раненых. С нашей стороны потерь не было". Или: "Весь неприятельский флот после отчаянного сопротивления нашему крейсеру "Money enough" сдался ему безусловно. Потерь убитыми и ранеными с обеих сторон не было". И в этом роде вся война. Меня поражает, что все так мало поражены этим новым характером войны, ее, можно сказать, бескровностью. Ведь превращение совершилось на наших глазах: мы же все помним, какие бывали бюллетени и в 1870, и в 1877 годах.

114 Генерал. Погодите поражаться; пусть столкнутся две настоящие военные нации, и вы увидите, какие опять пойдут бюллетени!

115 Политик. Не думаю. Давно ли и Испания была первостепенною военною нациею? Прошлого, слава Богу,

не вернешь. Мне представляется, что все равно как в теле ненужные органы атрофируются, так и в человечестве: воинственные качества стали не нужны, вот они и исчезают. А если бы вдруг опять появились, я так же бы удивился, как если бы у летучей мыши вдруг оказались бы орлиные глаза или у людей стали опять расти хвосты.

[116] Дама. А как же вы сами сейчас турецких солдат хвалили?

[117] Политик. Я их хвалил как стражей порядка внутри государства. В этом смысле военная сила, или, как говорится, "военная рука" — inarms militaris, еще надолго будет необходима для человечества, но это не мешает тому, что воинственность в смысле склонности и способности к войнам международным, эта, так сказать, национальная драчливость, должна совершенно исчезнуть и уже исчезает на наших глазах, вырождаясь в ту бескровную, хотя и не безувечную форму, какую представляют парламентские потасовки. И так как склонность к таким проявлениям, вероятно, останется, пока существуют враждующие партии и мнения, то для их обуздания необходимо останется в государстве и manus militaris, когда внешние войны — международные или междугосударственные — уже давно будут лишь историческим воспоминанием.

[118] Генерал. Это, значит, вы полицию с хвостцовою косточкою сравнили, которая остается у человека после того, как о хвосте одни киевские ведьмы напоминают. Это остроумно, только не слишком ли вы торопитесь нашего брата к исчезнувшему хвосту приравнять? Из того, что та или другая нация прокисла и плохо дерется, по-вашему, выходит, что уж во всем мире военные качества пропали. Пожалуй, какими-нибудь "мероприятиями" да

"системами" можно и русского солдата в киселя превратить, — ну да Бог не выдаст.

[119] Дама (к политику). А вы все-таки не объяснили, каким же способом без войны должны решаться такие исторические вопросы, как вот восточный. Как бы ни были плохи христианские народы на Востоке, но если уж у них явилось желание непременно быть самими по себе, а турки их за это резать будут, так неужели нам на это сложа руки смотреть? Положим, вы прежние войны хорошо критиковали; но я скажу, как князь, хоть не в его смысле: теперь-то вот что нам делать, если опять начнутся где-нибудь избиения?

[120] Политик. А теперь, пока они еще не начались, нам нужно взяться за ум поскорее и вместо своей дурной вести хоть и немецкую, да хорошую политику: турок не дразнить, о водружении крестов на мечетях — в пьяном виде не кричать, а потихоньку и дружелюбно культивировать Турцию для обоюдной пользы — и нашей, и ее собственной. Ведь прямо от нас зависит, чтобы турки поскорее поняли, что вырезывать население в своей стране есть дело не только дурное, но — главное — ни к чему не нужное, совершенно невыгодное.

[121] Г. Z. Ну, в этих вразумлениях, связанных с железнодорожными концессиями и всякими торговыми и промышленными предприятиями, немцы уж нас, наверное, предупредят, и тягаться нам с ними тут — дело безнадежное. [4]

[122] Политик. Да и зачем тягаться? Если кто-нибудь вместо меня какую-нибудь тяжелую работу сделает, то ведь я только радоваться и благодарить буду. А если я, напротив, стану за это на него сердиться: зачем, мол, он, а не я, то

ведь это совсем недостойно порядочного человека. И точно так же недостойно такой нации, как Россия, уподобляться собаке, которая на сене лежит, — и сама не ест, и другим не дает. Если другие своими средствами лучше и скорее нас сделают то доброе дело, которого и мы желаем, то тем выгоднее для нас. Я вас спрашиваю: из-за чего велись наши войны с Турцией в XIX веке, как не из-за того, чтобы оградить человеческие права турецких христиан? Ну а что, если эту самую цель немцы вернее достигнут мирным путем, культивируя Турцию? Ведь если бы в 1895 году они были так же прочно устроены в Азиатской Турции, как англичане в Египте, то уж, конечно, ни о каких армянских избиениях не пришлось бы толковать.

123 Дама. Так, значит, и по-вашему, с Турцией нужно покончить, только вы вот почему-то хотите, чтобы ее съели немцы.

124 Политик. Но я потому и признал немецкую политику мудрою, что она вовсе не хочет есть таких неудобоваримых предметов; ее задача более тонкая: ввести Турцию в среду культурных наций, помочь туркам образоваться и стать способными справедливо и гуманно управлять теми народами, которые по взаимной дикой вражде не в состоянии мирно управляться со своими делами.

125 Дама. Ну что вы сказки рассказываете! Отдавать христианский народ в вечное управление туркам — разве это возможно? Мне самой турки во многом нравятся, но все-таки они варвары, и последнее слово у них всегда будет насилие. А европейская цивилизация только их испортит.

[126] Политик. То же самое можно было сказать и про Россию при Петре Великом, да и гораздо позднее. "Турецкие зверства" мы помним, а давно ли в России, да и в прочих странах, собственные "турецкие зверства" исчезли? "Несчастные христиане, стонущие под мусульманским игом"? Ну а те, что стонали у нас под игом дурных помещиков, — кто они были: христиане или язычники? А те солдаты, что стонали под игом шпицрутена? Однако ведь справедливым ответом на эти стоны русских христиан была только отмена крепостного права и шпицрутена, а не разрушение Российской империи. Так почему же на болгарские и армянские стоны должно непременно отвечать упразднением того государства, где эти стоны раздаются, но могут и не раздаваться?

[127] Дама. Это совсем не одно и то же, когда происходят какие-нибудь безобразия внутри христианского государства, которое легко может быть преобразовано, или когда христианский народ притесняется не-христианским.

[128] Политик. Невозможность преобразования Турции есть только враждебный предрассудок, который немцы стали опровергать на наших глазах, как они же в свое время способствовали устранению предрассудка о врожденной дикости русского народа. Что же касается до ваших "христиан" и "не-христиан", то для жертв всяких зверств la question manque d'interet, если с меня кто-нибудь дерет шкуру, я ведь не стану обращаться к нему с вопросом: а какого вы, милостивый государь, вероисповедания? — и я не буду нисколько утешен, если окажется, что терзающие меня люди не только весьма неприятны и неудобны для меня, но, сверх того, в качестве христиан крайне гнусны и

для своего собственного Бога, над повелениями которого они глумятся. А, говоря объективно, неужели не ясно, что "христианство" Ивана IV, или Салтычихи, или Аракчеева есть не преимущество, а лишь такая глубина безнравственности, какая в других религиях даже невозможна. Вот вчера генерал рассказывал про злодейства диких курдов и, между прочим, об их чертопоклонстве упомянул. Действительно, очень дурно поджаривать на медленном огне как младенцев, так и взрослых; я готов назвать такие поступки дьявольскими. Известно, однако, что Иван IV особенно любил именно поджаривать людей на медленном огне, и даже своим посохом уголья подгребал. А он был не дикарь и не чертопоклонник, а человек острого ума и обширного по своему времени образования, притом богослов, твердый в правоверии. Да, чтоб не ходить так далеко в историю, разве какой-нибудь болгарский Стамбулов или сербский Милан — турки, а не представители так называемых христианских народов? Так что же такое это ваше "христианство", как не пустая кличка, которая совсем ни за что не ручается?

[129] Дама. Такие суждения хоть бы князю в уста!

[130] Политик. Когда дело идет об очевидной правде, то я не только с нашим почтеннейшим князем, но и с Валаамовою ослицей готов быть в единомыслии.

[131] Г. Z. Однако ваше высокоцревосходительство благоизволилй принять первенствующее участие в сегодняшнем разговоре не в том, кажется, намерении, чтобы трактовать о христианстве или о библейских животных. У меня и сейчас еще звучит в ушах ваш вчерашний крик сердца:

132 "Только религии поменьше, ради Бога, религии поменьше!" Так не благоугодно ли вам возвратиться к предмету разговора и разъяснить мне одно мое недоумение. А именно: если, как вы справедливо изволили заметить, мы должны не разрушать Турецкую империю, а "культивировать" ее и если, с другой стороны, как вы также основательно допустили, культурным прогрессом Турции гораздо лучше нас будут заниматься — и уже занимаются — немцы, то в чем же, собственно, по-вашему, состоит особая задача русской политики в восточном вопросе?

133 Политик. В чем? Кажется, ясно, что ни в чем. Ведь под особою задачею русской политики вы разумеете такую, которая и ставилась бы, и разрешалась Россией отдельно и наперекор стремлениям всех прочих европейских наций. Но я вам скажу, что такой особой политики никогда, собственно, и не бывало. Бывали у нас некоторые уклонения в эту сторону, вот хоть в 50-х, а потом в 70-х годах, но эти печальные уклонения, составляющие именно то, что я называю дурною политикою, сейчас же приносили с собою свое возмездие в виде более или менее крупных неудач. Вообще же говоря, русскую политику в восточном вопросе нельзя признать обособленною, или изолированною. Ее задача с XVI-го и, пожалуй, до конца XVIII-го века состояла в том, чтобы вместе с Польшей и Австрией оборонять культурный мир от опасного в то время турецкого нашествия. Так как в этой обороне приходилось (хоть бы и без формальных союзов) действовать сообща и с поляками, и с цесарцами, и с венецианскою республикой, то ясно, что это была политика общая, а не особенная какая-то. Ну, и в XIX-м, а тем более в наступающем XX-м столетии этот общий ее характер остается прежним, хотя

и цель, и средства по необходимости изменились. Теперь приходится не Европу защищать от турецкого варварства, а самих турок европеизировать. Для прежней цели нужны были средства военные, для нынешней — мирные. Но сама задача-то и в первом, и во втором случае — общая для всех: как прежде, европейские нации были солидарны в интересе военной обороны, так теперь они солидарны в интересе культурного расширения.

[134] Генерал. Однако прежняя-то военная солидарность Европы не мешала Ришелье и Людовику XIV заключать союзы с Турцией против Габсбургов.

[135] Политик. Дурная бурбонская политика, которая, вместе с их бессмысленною внутреннею политикой, в свое время получила должное возмездие от истории.

[136] Дама. Вы называете это историей? Кажется, прежде это называлось regicide.

[137] Г. Z. Да ведь именно это и значит попасть в скверную историю.

[138] Политик (к даме). Дело не в словах, а в том факте, что никакая политическая ошибка не проходит даром. И пусть желающие усматривают в этом что-то мистическое. Для меня его тут так же мало, как и в том, что ежели, например, я в моем возрасте и положении, вместо того чтобы есть простоквашу, начну, как молодой человек, ежедневно пить шампанское стаканами, то я непременно заболею, а ежели стану упорствовать в этом ancien regime, то и совсем умру, подобно Бурбонам.

[139] Дама. Согласитесь, что ваша политика простокваши, a la longue, становится скучной.

[140] Политик (обиженно). Если бы меня не прерывали, я давно бы уж исчерпал предмет и уступил бы слово более занимательному собеседнику.

[141] Дама. Ну, не обижайтесь. Я пошутила. Напротив, по-моему, вы даже очень остроумны… для вашего возраста и положения.

[142] Политик. Так я сказал, что теперь мы солидарны с прочею Европой в задаче культурного преобразования Турции и что никакой особой политики у нас тут нет и быть не может. Приходится, к сожалению, прибавить, что, вследствие нашей сравнительной отсталости в гражданском, промышленном и торговом отношениях, доля участия России в этом общем деле цивилизования Турецкой империи не может быть пока очень значительною. То первостепенное значение, которое принадлежало нашему отечеству как государству военному, не может, конечно, сейчас же остаться за нами. Оно не дается даром, его нужно заслужить. Свою военную значительность мы заслужили не хвастливыми словами, а действительными походами и битвами; так и культурную свою значительность мы должны заслужить действительными трудами и успехами на мирных поприщах. Если турки уступали нашим военным победам, то на почве мирной цивилизации они, конечно, уступят тем, которые в этом всех сильнее. И что же нам тут делать? Та степень слабоумия, которая позволяет действительным, трудовым преимуществам немцев противопоставлять воображаемый крест на Ая-Софии, едва ли и встречается теперь где-нибудь.

[143] Генерал. Да вот в том-то и дело, чтобы крест этот не был воображаемым.

144 Политик. Так кто же вам его материализует? А пока вы такого медиума не нашли, единственное, что требуется нашим национальным самолюбием, — в тех разумных пределах, в каких это чувство вообще допустимо, — удвоить усилия, чтобы скорее догнать другие нации, в чем мы от них отстали, и наверстать время и силы, потерянные на разные славянские комитеты и прочие вредные пустяки. Притом если в Турции мы пока бессильны, то нам можно уже теперь играть первостепенную культурную роль в Средней Азии и особенно на Дальнем Востоке, куда, по-видимому, всемирная история переносит свой центр тяжести. По географическому положению и другим условиям Россия может здесь сделать больше, чем все другие нации, за исключением, конечно, Англии. Значит, задача нашей политики с этой стороны состоит в постоянном и искреннем соглашении с англичанами, чтобы наше культурное сотрудничество с ними никогда не превращалось в бессмысленную вражду и недостойное соперничество.

145 Г. Z. К несчастью, такое превращение и у людей, и у народов всегда происходит как будто роковым образом.

146 Политик. Да, это бывает. Однако, с другой стороны, ни в жизни людей, ни в жизни народов я не знаю ни одного случая, чтобы враждебное и завистливое отношение к своим сотрудникам в общей работе делало кого-нибудь сильнее, богаче или счастливее. Этот всеобщий опыт, из которого нет ни одного исключения, принимается к сведению людьми умными, и я думаю, что им наконец воспользуется и такой умный народ, как русский. Враждовать с англичанами на Дальнем Востоке — ведь это было бы верхом безумия, не говоря о том, что и

неприлично поднимать домашние свары перед чужими. Или вы, может быть, думаете, что мы более свои желтолицым китайцам, нежели соотечественникам Шекспира и Байрона?

[147] Г. Z. Ну, это вопрос щекотливый.

[148] Политик. Так оставим его пока. Но вы обратите внимание вот на что. Если стать на мою точку зрения и признать, что в настоящее время политика России должна иметь только две задачи: во-первых, поддержание европейского мира, так как всякая европейская война на теперешней ступени исторического развития была бы безумным и преступным междоусобием, а во-вторых, культурное воздействие на варварские народы, находящиеся в сфере нашего влияния, то обе эти задачи, помимо внутреннего своего достоинства, удивительным образом поддерживают друг друга, взаимно обусловливая свое существование. Ясно в самом деле, что, добросовестно трудясь над культурным прогрессом варварских государств, в чем заинтересована и прочая Европа, мы стягиваем узы солидарности между нами и другими европейскими нациями, а укрепление этого европейского единства в свою очередь усиливает наше действие на варварские народы, отнимая у них самую мысль о возможности сопротивления. Вы думаете, если бы желтый человек знал, что за Россией стоит Европа, был бы нам в Азии какой-нибудь запрет? Ну а если бы он, наоборот, увидал, что Европа стоит не за Россией, а против России, то он, конечно, и о вооруженном нападении на нашу границу стал бы подумывать, и нам пришлось бы обороняться на два фронта на расстоянии десять тысяч верст. Я не верю в пугало монгольского нашествия, потому что не допускаю возможности

европейской войны, а при ней, конечно, и монголов пришлось бы бояться.

149 Генерал. Вот вам европейская война и нашествие монголов кажутся такою невероятностью, а мне в вашу "солидарность европейских наций" и в наступающий "мир всего мира" совсем не верится. Ненатурально это, неправдоподобно как-то. Ведь недаром о Рождестве в церквах поется: "На земле мир, в человецех благоволение". Это значит, что мир на земле будет только тогда, когда между людьми будет благоволение. Ну а где же оно? Видали вы его, что ли? Ведь, правду сказать, и мы с вами искренне-то, настоящее благоволение только к одной европейской державе и чувствуем — к княжеству Монако. С ним у нас и мир ненарушимый. Ну а чтобы немцев или англичан прямо-таки своими считать и в душе чувствовать, что вот их польза — наша польза, их удовольствие — наше удовольствие, — такой, как вы это называете, "солидарности" с европейскими нациями у нас, наверное, никогда не будет.

150 Политик. Как же это не будет, когда уже есть, когда она лежит в природе вещей? Мы солидарны с европейцами по той весьма простой причине, что мы сами европейцы. Это с XVIII века est un fait accompli, и ни дикость народных масс в России, ни печальные химеры славянофилов этого уже не переменят.

151 Генерал. Ну а европейцы-то между собою солидарны, французы с немцами, например, англичане и с теми, и с другими? Слышно, что даже шведы с норвежцами свою солидарность где-то затеряли!

152 Политик. Какой сильный, по-видимому, аргумент! Жаль только, что вся его сила держится одним

дефективным основанием — забвением исторического положения. А я вас спрошу: была бы солидарна Москва с Новгородом при Иване III-м или при Иване IV-м? Так что ж, вы станете отрицать и теперешнюю солидарность Московской и Новгородской губерний в общих государственных интересах?

153 Генерал. Нет, я скажу только: подождемте объявлять себя европейцами хоть до того исторического момента, когда европейские нации будут так же крепко сплочены между собою, как сплотились наши области в государстве Российском. А то не разрываться же нам на части в своей солидарности с европейцами, когда они между собою на ножах.

154 Политик. Ну уж и на ножах! Будьте покойны! Не только между Швецией и Норвегией, но даже между Францией и Германией вам не придется разрываться на части, потому что до разрыва они и между собою не дойдут. Теперь уж, кажется, это ясно. Ведь это у нас только многие принимают за Францию ничтожную группу авантюристов, которых можно и должно засадить в острог: пусть они там свой национализм проявляют и войну с Германией проповедуют.

155 Дама. Это было бы очень хорошо, если бы всю национальную вражду можно было посадить в острог. Только я думаю, что вы ошибаетесь.

156 Политик. Ну, конечно, я это сказал cum grano salis. Конечно, Европа на видимой поверхности еще не сплотилась в одно целое. Но я стою за свою историческую аналогию. Как у нас, например, в XVI веке хотя сепаратизм областей еще существовал, но уже был при последнем издыхании, а государственное единство далеко

не было одною мечтою, а действительно складывалось в определенные формы, так и теперь в Европе хотя национальный антагонизм еще и существует, особенно среди необразованных масс и малообразованных политиканов, но бессилен перейти в какое-нибудь значительное действие; европейской войны ему не вызвать, нет! А что вы, генерал, говорите насчет благоволения, так, правду сказать, я его не только между народами, но и внутри отдельной нации и даже отдельных семей мало что-то замечаю. Когда и есть, так до первой кости. Что ж отсюда следует? Не есть же это резон для междоусобной войны и для братоубийства? Так и в интернациональном отношении. Пусть французы и немцы не благоволят друг к другу, лишь бы драки между ними не было. Уверен, что и не будет.

[157] Г. Z. Это весьма вероятно. Но если и признать Европу за одно целое, то из этого, конечно, не следует, чтобы мы-то были европейцами. Вы знаете, существует у нас и довольно распространился в два последние десятилетия такой взгляд, что Европа, то есть совокупность германо-романских народов, есть действительно один солидарный в себе культурно-исторический тип, но что мы-то к нему не принадлежим, а составляем свой особый греко-славянский.

[158] Политик. Слыхал я про эту варьяцию славянофильства и даже случалось разговаривать с приверженцами этого взгляда. И вот что я заметил, и это, по-моему, решает вопрос. Дело в том, что все эти господа, перорирующие против Европы и нашего европеизма, никак не могут удержаться на точке зрения нашей греко-славянской самобытности, а сейчас же с головой уходят в исповедание и проповедания какого-то китаизма,

буддизма, тибетизма и всякой индийско-монгольской азиатчины. Их отчуждению от Европы прямо пропорционально их тяготение к Азии. Что же это такое? Допустим, что они правы насчет европеизма. Пусть это — крайнее заблуждение. Но откуда же для них такое роковое впадение в противоположную-то крайность, в азиатизм-то этот самый? А? И куда же испарилась у них греко-славянская, православная середина? Нет, я вас спрашиваю, куда она испарилась? А? А ведь в ней-то, казалось бы, самая суть? А? То-то вот оно и есть! Гони природу в дверь, она влетит в окно. А природа-то здесь в том, что никакого самобытного греко-славянского культурно-исторического типа вовсе не существует, а была, есть и будет Россия как великая окраина Европы в сторону Азии. При таком своем окраинном положении отечество наше, естественно, гораздо более прочих европейских стран испытывает воздействие азиатского элемента, в чем и состоит вся наша мнимая самобытность. Ведь и Византия не чем-нибудь своим, а тоже лишь примесью азиатского быта оригинальна, ну а у нас изначала, а особенно со времени Батыя, азиатский элемент в природу вошел, второю душою сделался, так что немцы могли бы про нас со вздохом сказать: Zwei Seelen wohnen, ach in ihrer Brust Die eine will sich von der andern trennen. Совсем отделаться от своей второй души нам невозможно, да и не нужно, — мы ведь и ей тоже кое-чем обязаны, — но, чтобы в такой коллизии не разорваться нам на части, как говорит генерал, необходимо было, чтобы решительно одолела и возобладала одна душа, и, разумеется, лучшая, то есть умственно более сильная, более способная к дальнейшему прогрессу, более богатая внутренними возможностями. Так оно и вышло при Петре Великом. А неистребимое,

хотя окончательно осиленное душевное сродство наше с Азией и после того вводило некоторые умы в бессмысленные мечтания о каком-то химерическом перерешении бесповоротно решенного исторического вопроса. Отсюда славянофильство, теория самобытного культурно-исторического типа и все такое. На самом же деле мы бесповоротные европейцы, только с азиатским осадком на дне души. Для меня это даже, так сказать, грамматически ясно. Что такое русские — в грамматическом смысле? Имя прилагательное. Ну а к какому же существительному это прилагательное относится?

159 Дама. Я думаю, к существительному человек: русский человек, русские люди.

160 Политик. Нет, это слишком широко и неопределенно. Ведь и папуасы, и эскимосы — люди; но я не согласен считать своим существительным то, что у меня общее с папуасом и эскимосом.

161 Дама. Однако есть очень важные вещи, которые общи всем людям: например, любовь.

162 Политик. Ну, это еще шире: как могу я признать своею специфическою сущностью любовь, когда я знаю, что она свойственна и прочим животным, и даже всякой твари?

163 Г. Z. Да, дело сложное. Я вот человек кроткий, так в любви я гораздо более солидарен с каким-нибудь белым или сизым голубем, нежели с черным маврой Отелло, хоть и он тоже человеком называется.

164 Генерал. Ну, в известном возрасте всякий благоразумный мужчина солидарен с белыми голубями. [5]

[165] Дама. Это еще что такое?

[166] Генерал. Это каламбур не для вас, а для нас с его высокопревосходительством.

[167] Политик. Оставим это, прошу вас, оставим. Treve de plaisanteries. Мы ведь здесь не на сцене Михайловского театра. — Я хотел сказать, что настоящее существительное к прилагательному русский есть европеец. Мы русские европейцы, как есть европейцы английские, французские, немецкие. Если я чувствую себя европейцем, то не глупо ли мне доказывать, что я какой-то славяно-росс или греко-славянин? Я так же неоспоримо знаю, что я европеец, как и то, что я русский. Я могу и, пожалуй, должен жалеть и беречь всякого человека, как и всякое животное, — блажен муж иже и скоты милует; но признавать себя солидарным, своим я буду не с какими-нибудь зулусами или китайцами, а только с нациями и людьми, создававшими и хранившими все те сокровища высшей культуры, которыми я духовно питаюсь, которые доставляют мне лучшие наслаждения. Прежде всего нужно было, чтобы эти избранные нации сложились, и окрепли, и устояли против низших элементов, нужна была война, и война была дело святое. Теперь они сложились, окрепли, и им нечего бояться, кроме междоусобных раздоров. Теперь наступает эпоха мира и мирного распространения европейской культуры повсюду. Все должны стать европейцами. Понятие европейца должно совпасть с понятием человека, и понятие европейского культурного мира — с понятием человечества. В этом смысл истории. Сначала были только греческие, потом римские европейцы, затем явились всякие другие, сначала на Западе, потом и на Востоке, явились русские европейцы, там, за океаном, —

европейцы американские, теперь должны появиться турецкие, персидские, японские, индийские, даже, может быть, китайские. Европеец — это понятие с определенным содержанием и с расширяющимся объемом. Заметьте притом, какая разница: всякий человек есть такой же человек, как и всякий другой. Поэтому если мы своим существительным признаем это отвлеченное понятие, то мы должны прийти к эгалитарной безразличности и нацию Ньютона и Шекспира ценить не больше, чем каких-нибудь папуасов. Это прежде всего нелепо, а на практике и пагубно. Ну а если мое существительное — не человек вообще, не это пустое место с двумя ногами, а человек как носитель культуры, то есть европеец, то для нелепой эгалитарности тут нет места. Понятие европеец, или, что то же, понятие культура, содержит в себе твердое мерило для определения сравнительного достоинства или ценности различных рас, наций, индивидов. Эти различия оценок здравая политика непременно должна принимать в расчет. Иначе, если мы будем ставить на одну доску сравнительно культурную Австрию и каких-нибудь полудиких герцеговинцев, это как раз приведет нас к тем нелепым и опасным авантюрам, по которым еще вздыхают последние могиканы нашего славянофильства. Il ya europeen et europeen. Даже после наступления того желанного и, надеюсь, близкого часа, когда Европа или культурный мир действительно совпадет по объему со всем населением земного шара, в объединенном и умиротворенном человечестве останутся все те натуральные и закрепленные историей градации и нюансы культурной ценности, которыми должны определяться наши различные отношения к различным народам. И в торжествующем, всеобъемлющем царстве

высшей культуры, все равно как и в царстве небесном, — ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе, — так ведь, кажется, в катехизисе? А? Ну а теперь, когда цель хотя близка, но еще не достигнута, тем более нужно беречься от ошибок безразличной эгалитарности. Вот нынче в газетах стали писать о какой-то распре между Англией и Трансваалем и что будто бы эти африканцы даже войною Англии грозятся, — так уж я теперь вижу, как разные газетчики и политиканы и у нас, да, пожалуй, на всем континенте, против Англии ополчатся и за бедных этих угнетенных африканцев распинаться будут. А ведь это все равно, как если бы на почтеннейшего, заслуженного, всем известного и образованнейшего Федора Федоровича Мартенса, зашедшего по своим делам в соседнюю лавочку, чумазый подросток-сиделец вдруг с кулаками полез: "Лавочка, мол, наша, ты здесь лишний, и, если не уйдешь, я тебя задушу или зарежу", — а там и душить стал. Можно было бы, конечно, пожалеть, что почтенному Федору Федоровичу пришлось в такую нелепую историю попасть, но уж раз это случилось, я бы испытал только чувство нравственного удовлетворения, если бы мой досточтимый друг, надававши буяну хороших тумаков, сдал бы его через полицию в исправительный приют для малолетних преступников. А вместо того разные прилично одетые господа вдруг начинают поощрять и подзадоривать мальчугана: "Молодец! Такой маленький и на такого крупного господина напал! Валяй вовсю, голубчик, не выдадим!" Что за безобразие! И еще если бы у этих африканских чумаков и скотоводов достало ума себя по кровному родству прямо за голландцев признать. Голландия — настоящая нация, заслуженная, высококультурная. Куда тут! Они себя самих за особую

нацию считают, собственное африканское отечество создают. Ах, канальи! [6]

168 Дама. Во-первых, не бранитесь, а, во-вторых, растолкуйте мне, что это за Трансвааль такой, какие люди там обитают?

169 Г. Z. Там обитает помесь европейцев и негров: они не белы и не черны, а буры.

170 Дама. Это опять, кажется, каламбур?

171 Политик. И не высокого сорта.

172 Г. Z. Каковы буры, таковы и каламбуры. Впрочем, если этот цвет вам не нравится, там есть еще Оранжевая республика.

173 Политик. Говоря серьезно, эти буры, конечно, европейцы, но плохие. Отчужденные от своей славной метрополии, они в значительной степени потеряли и свою культурность, окруженные дикарями, сами одичали, загрубели, и ставить их на одну доску с англичанами и даже доходить до того, чтобы желать им успеха в борьбе с Англией, — cela n'a pas de nom!

174 Дама. А ведь ваши же европейцы сочувствовали кавказским горцам, когда они воевали с нами за свою независимость. А Россия все-таки гораздо культурнее черкесов.

175 Политик. Чтобы не распространяться о мотивах этого сочувствия Европы кавказским дикарям, скажу только, что нам должно ассимилировать себе общий европейский ум, а не случайные глупости тех или других европейцев. — Нет, я, конечно, от всей души сожалею, что Англии, как видно, придется для усмирения этих зазнавшихся варваров употребить такое отжившее, осужденное

историческим разумом средство, как война. Но если уж она окажется неизбежною вследствие дикости этих зулусов, я хотел сказать — буров, поощряемой неразумною завистью континента к Англии, то, разумеется, я буду горячо желать, чтобы эта война поскорее кончилась полным усмирением африканских буянов, так чтобы про их независимость больше помину не было. А их успех — тоже возможный по отдаленности тех стран — был бы торжеством варварства над образованностью, и для меня как русского, то есть европейца, это был бы день глубокого национального траура.

[176] Г. Z. (тихо к генералу). Ах, хорошо говорят сановники, совсем как тот француз: ce sabre d'honneur est le plus beau jour de ma vie).

[177] Дама (к политику). Нет, я не согласна. И почему не сочувствовать этим трансбурам? Ведь мы же Вильгельму Теллю сочувствуем.

[178] Политик. Да, вот если бы они свою поэтическую легенду создали, таких художников, как Шиллер и Россини, вдохновили и сами у себя какого-нибудь вроде Жан Жака Руссо или других писателей и ученых произвели, тогда другой был бы о них и разговор.

[179] Дама. Да ведь это все потом вышло, а сначала и швейцарцы ведь тоже пастухи были... Да и кроме них разве американцы когда за независимость против англичан бунтовали, чем-нибудь в образованности отличались? Нет, они были хоть не буры, а краснокожи и волосы с кожей сдирали — у Майн Рида. А ведь им и Лафайет сочувствовал, и был прав, потому что они вот теперь взяли да в Чикаго все религии соединили и

выставку из них сделали, чего еще никто никогда не видывал. Вот ведь в Париже хотели для будущей выставки таким же способом все религии собрать, однако ничего не вышло. Очень там старался аббат один, Виктор Шарбоннель. Он и ко мне несколько писем писал — такой симпатичный. Но только все веры отказались. Даже великий раввин объявил: "Для религии у нас есть Библия, а выставка тут ни к чему". Бедный Шарбоннель с отчаяния от Христа отрекся и в газетах напечатал, что он выходит в отставку и очень уважает Ренана. И кончил он, мне писали, совсем как-то нехорошо: не то женился, не то спился. Потом наш Неплюев тоже хлопотал, но и он во всех религиях разочаровался. Он мне писал — такой идеалист, — что полагается на единое только человечество. Но как же единое человечество на выставке в Париже показывать? Я думаю, это фантазия. А вот американцы прекрасно свое дело устроили. Ото всех вер к ним духовные лица приехали. Епископа католического председателем сделали. Он им Отче наш по-английски прочел, а буддийские и китайские жрецы-идолопоклонники учтиво ему отвечают: "Oh yes! All right, Sir! Мы никому зла не желаем и только об одном просим: чтобы ваши миссионеры уехали от нас куда-нибудь подальше. Потому что ваша религия чрезвычайно как хороша для вас, и, что вы ее исполняете, мы в этом не виноваты, а для нас наша религия всех лучше". И так благополучно все кончилось, ни одной драки не было, все удивлялись. Вот каковы американцы теперь стали. А почем знать, может быть, и из этих нынешних африканцев такие же американцы потом выйдут.

[180] Политик. Конечно, все возможно. И из какого-нибудь гавроша может великий ученый выйти. Но до тех пор

все-таки для его собственной пользы не мешает его хорошенько выпороть...

181 Дама. Какие выражения! Decidement vous vous encalaillez. И все это из Монте-Карло! Oui est que vous frequentez la bas? Les families des croupi ers sans doute. Впрочем, это ваше дело. А я бы только просила вас сократить вашу политическую мудрость, а то людей с обедом задерживаете. Давно пора кончить.

182 Политик. Да я и хотел резюмировать и свести конец речи с ее началом.

183 Дама. Не верю! Никогда сами не кончите. Нужно, чтобы я вам помогла растолковать вашу мысль. Вы ведь хотели сказать, что времена переменились, что прежде был Бог и война, а теперь вместо Бога культура и мир. Так ведь?

184 Политик. Пожалуй, приблизительно так.

185 Дама. Вот и отлично. Что такое Бог — я хоть и не знаю, и объяснить не могу, но чувствую. А насчет этой вашей культуры у меня и чувства никакого нет. Так вот вы мне объясните двумя словами, что это такое?

186 Политик. Из чего состоит культура, что в ней содержится, — это вы и сами знаете: все те сокровища мысли и гения, которые создавались избранными умами избранных народов.

187 Дама. Да ведь это все не одно, а совсем разное. Тут и Вольтер, и Боссюэ, и Мадонна, и Нана, и Альфред Мюссэ, и Филарет. Как же это все в одну кучу свалить и эту кучу себе вместо Бога поставить?

188 Политик. Да я и хотел сказать, что о культуре в смысле исторической сокровищницы нам нет заботы. Она

создана, существует, и слава Богу. Можно, пожалуй, надеяться, что еще будут новые Шекспиры и Ньютоны, но это не в нашей власти и практического интереса не представляет. Между тем есть в культуре другая сторона, практическая, или, если хотите, нравственная, и это есть именно то, что в частной жизни мы называем вежливостью или учтивостью. Это может казаться маловажным на поверхностный взгляд, но оно имеет огромное и единственное значение именно потому, что оно одно может быть всеобщим и обязательным: нельзя ни от кого требовать ни высшей добродетели, ни высшего ума и гения, но можно и должно требовать от всех учтивости. Это есть тот минимум рассудительности и нравственности, благодаря которому люди могут жить по-человечески. Конечно, вежливость не есть вся культура, но она есть необходимое условие всякой культурности, все равно как грамотность, хотя не исчерпывает умственного образования, но есть его необходимое условие. Вежливость есть культурность a l'usage de tout le monde. И вот мы видим в самом деле, что она все более из частных отношений между людьми одного класса распространяется на социальные — между различными классами — и на политические, или международные. Мы помним еще в своем детстве, как люди нашего класса могли быть невежливы с простолюдинами, ну а теперь обязательная, а то и принудительная вежливость эту сословную границу перешагнула и вот готова перешагнуть и границы интернациональные.

[189] Дама. Ах, пожалуйста, говорите короче. Вы ведь к тому ведете, что мирная политика то же самое между государствами, что вежливость между людьми.

[190] Политик. Конечно, недаром по-французски politesse и rolitique в ближайшем родстве. И заметьте, что для этого вовсе не требуется никаких чувств, никакого этого благоволения, о котором напрасно помянул генерал. Если я на кого-нибудь не бросаюсь и не грызу его голову зубами, то ведь это не значит, чтобы я имел к нему какое-то благоволение. Напротив, я могу питать к нему в своей душе самые злобные чувства, но, как человеку культурному, мне такая грызня прямо гадка, а главное, я понимаю, что ничего, кроме гадостей, из нее и выйти не может, а ежели я от нее воздержусь и обойдусь с этим человеком учтиво, то ничего не потеряю и много выиграю. Точно так же, каковы бы ни были национальные антипатии между двумя народами, на известной степени культуры они никогда не дойдут до voies de fait, то есть до войны, во-первых, потому, что самая процедура войны — не так, как она в стихах и на картинах изображается, а как она в действительности существует — все эти мертвые тела, зловонные раны, скопления множества грубых и грязных людей, прекращение нормального порядка жизни, разрушение полезных зданий и учреждений, мостов, железных дорог, телеграфов — все это безобразие культурному народу прямо противно, как нам с вами противны выбитые глаза, свороченные скулы или откушенные носы; а во-вторых, на известной степени умственного развития народ понимает, как выгодно быть учтивым с другими нациями и как убыточно с ними драться. Тут, конечно, множество градаций: кулак культурнее зубов, палка культурнее кулака, а символическая пощечина еще культурнее, — точно так же и войны вести можно более или менее диким образом, и европейские войны XIX века более похожи на формально обусловленную дуэль двух порядочных людей,

нежели на драку двух пьяных мастеровых, но и это — только переходная ступень. Заметьте, что и дуэль у передовых наций выходит из употребления. Тогда как отсталая Россия оплакивает двух своих лучших поэтов, погибших на поединке, в более культурной Франции дуэль уже давно превратилась в бескровную жертву дурной и мертвой традиции. Quand on est mort c'est qu'on n'est plus en vie, сказал бы г-н Де ла Палисс, и, наверное, мы с вами увидим, как дуэль вместе с войною будут навеки похоронены в архиве истории. Тут компромисс не может быть продолжительным. Настоящая культура требует, чтобы всякая драка между людьми и между нациями была вовсе упразднена. Во всяком случае мирная политика есть мерило и симптом культурного прогресса. И вот почему, при всем желании быть угодным почтеннейшему генералу, я все-таки остаюсь при своем заявлении, что литературная агитация против войны есть явление весьма отрадное. Она не только предваряет, Но и ускоряет окончательное решение назревшей задачи. При всех своих странностях и увлечениях эта проповедь важна тем, что подчеркивает в общественном сознании главную, так сказать магистральную линию исторического прогресса. Мирное, то есть вежливое, то есть для всех выгодное, улажение всех международных отношений и столкновений — вот незыблемая норма здравой политики в культурном человечестве. — А? (К г. Z.) Вы что-то хотите сказать?

[191] Г. Z. Нет, я насчет того, что вы перед этим изволили заметить, что мирная политика есть симптом прогресса, — так я вспомнил, что в тургеневском Дыме одна особа тоже совершенно правильно говорит: "Прогресс — это симптом!" Так не выйдет ли, что мирная политика есть симптом симптома?

192 Политик. Да. Так что же? Конечно, все относительно. Но в чем же, собственно, ваша мысль?

193 Г. Z. Да в том, что ежели мирная политика есть только тень тени, то стоит ли об ней так много толковать? И о ней, и обо всем этом теневом прогрессе? Не лучше ли прямо сказать человечеству то, что отец Варсонофий говорил той благочестивой даме: "Ты стара, ты слаба и никогда лучше не будешь".

194 Дама. Ну, об этом теперь уже поздно. (К политику.) Но заметьте, как подшутила над вами ваша politique — politesse.

195 Политик. Что такое?

196 Дама. А то, что в Монте-Карло или par euphemisma в Ниццу вы завтра не поедете.

197 Политик. Это почему?

198 Дама. А потому, что эти господа хотят вам возражать, но вы говорили с такою prolixite, что для них времени не оставили и их возражения нужно отложить на завтра. Но неужели, когда тут культурные люди будут опровергать ваши тезы, вы будете в Монте-Карло предаваться более или менее запрещенным наслаждениям в обществе необразованных крупье и их семейств? Ведь это был бы comble неучтивости. Где же тогда ваш "обязательный минимум нравственности"?

199 Политик. Ну, если так уж вышло, я могу отложить на один день свою поездку в Ниццу. Мне и самому будет любопытно послушать, что можно сказать против моих аксиом.

[200] Дама. Отлично. А теперь, я думаю, все ужасно голодны и, если бы не наша "культурность", давно бы уже бросились в столовую.

[201] Политик. II me semble du reste que la culture et l'art culinaire se marient tres bien ensemble.

[202] Дама. Ой, ой! Зажимаю уши.

[203] И тут мы все, обмениваясь сомнительными остротами, поспешили вслед за хозяйкой к обеденному столу.

Разговор третий

[1] Audiatur et Tertia pars.

[2] На этот раз по общему желанию мы собрались в саду раньше обыкновенного, чтобы не торопиться с окончанием разговора. Все были почему-то в более серьезном настроении, чем вчера.

[3] Политик (к г. Z.). Вы, кажется, хотели что-то возразить или заметить на то, что я давеча говорил?

[4] Г. Z. Да, это насчет вашего определения, что мирная политика есть симптом прогресса, — я еще вспомнил слова одной особы в тургеневском "Дыме", что "прогресс — это симптом". Я не знаю, что именно под этим разумела тургеневская особа, но ведь прямой смысл этих слов совершенно верен. Прогресс действительно есть симптом.

[5] Политик. Чего?

[6] Г. Z. Приятно с умными людьми разговаривать. Именно к этому вопросу я и вел речь. Я думаю, что прогресс, то есть заметный, ускоренный прогресс, есть всегда симптом конца.

[7] Политик. Я понимаю, что если дело идет, например, о прогрессивном параличе, то это есть симптом конца. Но почему же прогресс культуры или культурности непременно должен быть симптомом конца?

[8] Г. Z. Да, это не так очевидно, как в случае паралича, однако это так.

[9] Политик. Что вы в этом уверены — это ясно, но для меня не ясно даже, в чем, собственно, вы уверены. И, во-первых, ободренный вашей похвалой, я и тут

возобновлю свой простой вопрос, который вам показался умным. Вы говорите "симптом конца". Конца чего? — я спрашиваю.

[10] Г. Z. Да конца того, о чем у нас была речь. Ведь мы толковали об истории человечества, о том историческом "процессе", который несомненно стал идти ускоренным темпом и, как я убежден, приближается к своей развязке.

[11] Дама. C'est la fin du mondi, n'est ce pas? Это очень любопытно.

[12] Генерал. Вот наконец до самого интересного добрались.

[13] Князь. Вероятно, вы и антихриста не оставите без внимания?

[14] Г . Z. Конечно, — ему первое место.

[15] Князь (к даме). Извините, пожалуйста, у меня ужасно много дел совсем неотложных, так что, при всем желании послушать о таких интереснейших вещах, я должен отправиться к себе.

[16] Генерал. Как? А винт?

[17] Политик. Я еще третьего дня предчувствовал, что будет какое-нибудь злодейство. Уж раз религия замешалась, не жди добра.

[18] Tantum religio potuit suadere malorum.

[19] Князь. Никакого злодейства не будет — я постараюсь вернуться в девять часов, а теперь решительно некогда.

[20] Дама. Но почему такая внезапность? Почему вы не предупредили об этих важных делах? Не верю! Признайтесь, что это антихрист вас вдруг спугнул.

[21] Князь. Я вчера так много наслушался, что учтивость есть самое первое дело, что под этим внушением решил сказать неправду ради учтивости. Теперь вижу, что это очень дурно, и скажу прямо, что хотя у меня действительно много важных дел, но что я ухожу от этого разговора главным образом потому, что считаю непозволительным тратить свое время на рассуждения о таких вещах, которые могут иметь значение разве для папуасов каких-нибудь.

[22] Политик. Ваш тяжкий грех излишней учтивости, кажется, теперь искуплен.

[23] Дама. И зачем сердиться? Если мы глупы, просветите нас. Вот я, право, не сержусь, что вы и меня папуаской назвали, — ведь и у папуасов могут быть верные понятия. Бог умудряет младенцев. Но если вам трудно слушать про антихриста, так вот на чем помиримся. Ваша вилла ведь два шага отсюда. Ступайте теперь заниматься, а к концу разговора приходите — после антихриста.

[24] Князь. Хорошо, приду.

[25] (Когда князь отошел от беседующих) г е н е р а л (смеясь, заметил). Знает кошка, чье мясо съела!

[26] Дама. Как, вы думаете, что наш князь — антихрист?

[27] Генерал. Ну, не лично, не он лично: далеко кулику до Петрова дня! А все-таки на той линии. Как еще и у Иоанна Богослова в писании сказано: вы слышали, детушки, что придет антихрист, а теперь много антихристов. Так вот из этих многих, из многих-то...

[28] Дама. Во "многие", пожалуй, и нечаянно попадешь. С него Бог не взыщет, его с толку сбили. Он знает, что своего пороху ему не выдумать, а в модном мундире

ходить — все-таки почет, будто в гвардию попасть из армейских. Большому генералу это все равно, а для маленького офицера лестно.

[29] Политик. Это психология верная. Но я все-таки не понимаю, почему он рассердился насчет антихриста. Вот я, например, ни во что мистическое не верю, так оно меня и не сердит, а скорей интересует с точки зрения общечеловеческой. Я ведь знаю, что для многих это дело серьезное; значит, здесь выражается какая-то сторона человеческой природы, которая у меня атрофирована, что ли, но сохраняет свой объективный интерес и для меня. Я вот, например, совсем плох к живописи: и сам ничего не нарисую — даже прямой линии или круга, да и у живописцев не разберу, что хорошо написано, что дурно. Но я и вопросами живописи интересуюсь на почве общеобразовательной и общеэстетической.

[30] Да м а. На такое безобидное дело нельзя сердиться, а вот религию вы же сами ненавидите и только что привели какое-то латинское ругательство против нее.

[31] Политик. Ну уж и ругательство! Я, как и мой любимый поэт Лукреций, упрекаю религию за кровавые алтари и за вопли человеческих жертв. Отголосок этой кровожадности слышится мне и в мрачно нетерпимых заявлениях покинувшего нас собеседника. А религиозные идеи сами по себе меня очень интересуют, вот, между прочим, и эта идея "антихриста". К сожалению, пришлось об этом предмете прочесть только книгу Ренана, а тот берет дело лишь со стороны исторической учености и все к Нерону сводит. Но этого мало. Ведь идея антихриста была гораздо раньше Нерона у евреев — по поводу царя Антиоха Епифана — и осталась до сих пор у наших раскольников, например. Тут есть какая-то общая мысль.

[32] Генерал. Да, хорошо вашему высокопревосходительству о таких вещах рассуждать при ваших-то досугах, — ну а вот бедный князь так поглощен делами евангельской проповеди, что где уж ему о Христе или об антихристе поразмыслить: даже для винта и то не более трех часов в день остается. Человек без фальши, нужно отдать ему справедливость.

[33] Дама. Нет, вы к нему слишком строги. Конечно, они все какие-то изломанные, но зато и несчастные такие: нет в них никакой веселости, никакого довольства и благодушия. А ведь в Писании где-то сказано, что христианство есть радость о Духе Святе.

[34] Генерал. Положение в самом деле тяжелое: Духа Христова не имея, выдавать себя за самых настоящих христиан.

[35] Г. Z. За христиан по преимуществу при отсутствии именно того, что составляет преимущество христианства.

[36] Генерал. Но мне думается, что это печальное положение и есть именно положение антихристово, которое для более умных или чутких отягощается сознанием, что ведь в конце концов кривая не вывезет.

[37] Г. Z. Во всяком случае несомненно, что то антихристианство, которое по библейскому воззрению — и ветхозаветному, и новозаветному — обозначает собой последний акт исторической трагедии, что оно будет не простое неверие, или отрицание христианства, или материализм и тому подобное, а что это будет религиозное самозванство, когда имя Христово присвоят себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его.

[38] Генерал. Ну конечно, дьявол не был бы и дьяволом, если бы в открытую играл!

[39] Политик, Я боюсь, однако, как бы все христиане не оказались самозванцами и, значит, по-вашему, антихристами. Исключение составят разве только бессознательные народные массы, насколько такие еще существуют в христианском мире, да немногие отдельные оригиналы вроде вас, господа. А уж во всяком случае к "антихристам" следует отнести тех Людей — и здесь, во Франции, и у нас, — что особенно хлопочут о христианстве, делают из него свое специальное занятие и из христианского имени какую-то свою монополию или привилегию. Такие люди в настоящее время принадлежат к одному из двух разрядов, одинаково чуждых, я надеюсь, духу Христову. Или это живодеры какие-то оголтелые, что сейчас готовы инквизицию восстановить и религиозные массакры устроить — вроде тех "благочестивых" аббатов и "бравых" "католических" офицеров, что выражали недавно свои лучшие чувства по случаю какого-то попавшегося мошенника, или это новые постники и безбрачники, что открыли добродетель и совесть, как Америку какую-то, а при этом потеряли внутреннюю правдивость и всякий здравый смысл. От первых нравственная тошнота делается, а от вторых и физическая зевота одолевает. [7]

[40] Генерал. Да. И в давние времена христианство кому было непонятно, кому ненавистно; но сделать его отвратительным и смертельно скучным — это лишь теперь удалось. Воображаю, как дьявол себе руки потирал и за живот хватался при таком успехе. Ах ты, Господи!

[41] Дама. Так что ж, это и есть антихрист, по-вашему?

[42] Г. Z. Ну, нет. Некоторые пояснительные намеки на его существо тут даны, а сам-то еще впереди.

[43] Дама. Так разъясните же, как можно проще, в чем тут дело?

[44] Г. Z. Ну, за простоту не могу ручаться. На истинную простоту не сразу попадешь, а мнимая простота, искусственная, фальшивая — нет ничего хуже ее. Есть старинное изречение, которое любил повторять один мой умерший приятель: многая простота удобопревратна.

[45] Дама. Ну, и это не совсем просто.

[46] Генерал. Это, вероятно, то же, что и в народной пословице: иная простота хуже воровства.

[47] Г. Z. Это самое.

[48] Дама. Теперь и я понимаю.

[49] Г. Z. Жаль только, что всего антихриста на одних пословицах не объяснишь.

[50] Дама. Ну, объясняйте, как знаете.

[51] Г. Z. Прежде всего скажите мне, признаете ли вы существование и силу зла в мире?

[52] Дама. Не хотелось бы признавать, да приходится поневоле. Одна смерть чего стоит: уж от этого-то зла не уйдешь. Верю, что "последний враг истребится смерть", — ну а пока не истребился, ясно, что зло не только сильно, но и сильнее добра.

[53] Г. Z (к генералу). А вы как думаете?

[54] Генерал. Я перед пулями и ядрами глаз не закрывал, так и на более тонкие вопросы жмуриться не стану. Конечно, зло так же реально существует, как и добро.

Есть Бог, есть и дьявол, — разумеется, пока его Бог терпит.

[55] Политик. Ну а я пока ничего не отвечу. Мой взгляд в корень не идет, а ту сторону дела, которая мне ясна, я изложил вчера, как мог. Но мне любопытно познакомиться с чужим взглядом. Образ мыслей князя мне совершенно понятен, то есть мне понятно, что тут никакой настоящей мысли вовсе нет, а торчит какая-то голая претензия qui n'ani rime, ni raison. Ну а положительный религиозный взгляд, конечно, более содержателен и более меня интересует.

[56] Только я до сих пор был с ним знаком лишь в его казенной форме, которая меня не удовлетворяет. И мне было бы очень желательно услышать наконец об этих вещах не благоглаголание благопотребное, а натуральное человеческое слово.

[57] Г. Z. Изо всех звезд, которые восходят на умственном горизонте человека, со вниманием читающего наши священные книги, нет, я думаю, более яркой и поразительной, чем та, которая сверкает в евангельском слове: "Думаете ли вы, что Я мир пришел принести на землю? Нет, говорю вам, — но разделение". Он пришел принести на землю истину, а она, как и добро, прежде всего разделяет.

[58] Дама. Это нужно объяснить. И почему же Христос называется prince de la paix, и почему Он же сказал, что миротворцы сынами Божиими нарекутся?

[59] Г. Z. А вы так добры, что желаете и мне получить это высшее достоинство чрез примирение противоречивых текстов?

[60] Дама. Именно.

61 Г. Z. Так заметьте же, что примирить их можно только чрез разделение между добрым или истинным миром и миром дурным или ложным. И это разделение прямо указано Тем же, Кто принес истинный мир и добрую вражду: "Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам". — Есть, значит, хороший, Христов мир, основанный на том разделении, что Христос пришел принести на землю, именно на разделении между добром и злом, между истиной и ложью; и есть дурной, мирской мир, основанный на смешении, или внешнем соединении, того, что внутренне враждует между собою.

62 Дама. Как же это вы покажете разницу между хорошим и дурным миром?

63 Г. Z. Да почти так же, как третьего дня генерал, когда он шутя заметил, что бывает хороший мир, например Ништадтский или Кучук-Кайнарджийский. Под этой шуткой есть более общий и важный смысл. И в духовной борьбе, как и в политической, хороший мир есть тот, который заключают лишь тогда, когда цель войны достигнута.

64 Дама. Но из-за чего же окончательно идет война между добром и злом? Да и нужно ли им, собственно, воевать между собою? Да и возможно ли между ними действительно столкновение — corps acorps? Ведь на обыкновенной войне, когда одна сторона начнет усиливаться, то и другая, неприятельская, ищет подкреплений, спор должен быть решен настоящими битвами, с пушками и штыками. А в борьбе добра и зла этого нет, а когда добрая сторона усиливается, то дурная сейчас уж и слабеет, и до настоящего сражения между ними дело никогда не доходит, так что все это только в переносном смысле. Значит, нужно только заботиться,

чтобы добра в людях было больше, тогда уж само собою зла будет меньше.

[65] Г. Z. То есть вы думаете, что стоит только добрым людям самим становиться еще добрее, чтобы злые теряли свою злобу, пока наконец не сделаются тоже добрыми?

[66] Дама. Мне кажется, что так.

[67] Г. Z. Ну а вам известны какие-нибудь случаи, чтобы доброта доброго человека делала злого добрым или, по крайней мере, менее злым?

[68] Дама. Нет, сказать правду, я таких случаев не видала и не слыхала... Но постойте: ведь то, что вы теперь сказали, подходит, кажется, к тому, о чем вы третьего дня с князем говорили, что даже Христос при всей Своей доброте ничего хорошего не мог сделать с душой Иуды Искариота или злого разбойника. Так ответ на это остался за князем, вы не забудьте, когда он придет.

[69] Г. Z. Ну, так как я его не считаю антихристом, то и в пришествии его не уверен, а в его богословской находчивости — еще менее. Так, чтобы на нашем разговоре не тяготел этот нерешенный вопрос, я представлю пока то возражение, которое должен бы сделать князь с его точки зрения. "Почему Христос не переродил Своею добротою злые души Иуды и Кº"? Да просто потому, что время было слишком темное, и только очень немногие души стояли на той степени нравственного развития, на которой внутренняя сила истины может быть ощутительна. А Иуда и Кº были еще слишком "неразвиты". Но ведь сам же Христос сказал своим ученикам: "Дела, которые Я творю, и вы сотворите, — и больше этого сотворите". Значит, на высшей ступени нравственного развития в человечестве, какая достигнута

в настоящее время, истинные ученики Христовы могут силою своей кротости и непротивления злу творить нравственные чудеса больше тех, что были возможны осьмнадцать веков тому назад...

[70] Генерал. Позвольте, позвольте! Если могут творить, так почему же не творят? Или вы эти новые чудеса видали? Ведь вот наш князь и теперь, "после осьмнадцати веков нравственного развития христианского сознания", никак не может просветить мою темную душу: каким я был до него людоедом, таким и посейчас остаюсь и как прежде, так и теперь после Бога и России больше всего на свете люблю военное дело вообще и артиллерийское в особенности. А ведь я не только с одним нашим князем, а и с многими другими непротивленцами, посильней его, встречался.

[71] Г. Z. Ну зачем же становиться на такую личную почву? И чего вы от меня желаете? Я вам представил в пользу отсутствующего противника евангельский текст, о котором он забыл, а затем

[72] Резон ли в этом, или не резон. — Я за чужой не отвечаю сон.

[73] Дама. Ну, теперь уж и я вступлюсь за бедного князя. Если бы он захотел быть умным, то он отвечал бы генералу так: я и мои единомышленники, с которыми вы встречались, считаем себя истинными учениками Христа только по направлению наших мыслей и поступков, а не потому, чтобы мы достигли большой силы. Но, наверное, есть где-нибудь или скоро будут христиане более совершенные, чем мы, — они и вашу темную стену пробили бы.

74 Г. Z. Этот ответ, конечно, был бы практически удобен, так как он апеллировал бы к неизвестной инстанции. Но это ведь несерьезно. Они, положим, скажут, должны сказать: мы ничего делать не можем — ни большего, чем то, что Христос делал, ни равного Его делам, ни даже меньшего, но сколько-нибудь приближающегося к этим делам. Что же можно заключить из такого признания по здравой логике?

75 Генерал. Кажется, только то, что слова Христовы: "Вы будете творить то, что Я творил, и больше этого" — сказаны были не этим господам, а кому-нибудь другому, совсем на них не похожему.

76 Дама. Но ведь можно себе представить, что какой-нибудь человек до конца проведет заповедь Христову о любви к врагам и о прощении обид — и тогда он через того же Христа получит силу превращать своей кротостью злые души в добрые.

77 Г. Z. Был не так давно сделан опыт в этом роде, и не только без успеха, но он показал прямо обратное тому, что вы предполагаете. Был человек, не знавший пределов своей кротости и не только прощавший всякую обиду, но и отвечавший на всякое новое злодеяние новыми и большими благодеяниями. И что же? Потряс ли он душу своего врага, переродил ли его нравственно? Увы! Он только ожесточил сердце злодея и жалостным образом погиб от его руки.

78 Дама. Про что такое вы говорите? Какой это человек? Где и когда он жил?

79 Г. Z. Не так давно и в Петербурге. Я думал, что вы его знаете. Это камергер Деларю.

[80] Дама. Никогда не слыхала, а, кажется, я весь Петербург по пальцам знаю.

[81] Политик. Я тоже что-то не припоминаю. Но в чем же история этого камергера?

[82] Г. Z. Она прекрасно изложена в одном неизданном стихотворении Алексея Толстого.

[83] Дама. Неизданном? Значит, наверное, фарс. К чему же это при таких серьезных предметах?

[84] Г. Z. Уверяю вас, что хотя это фарс по форме, но с очень серьезным и, главное, правдивым реальным содержанием. Во всяком случае действительное отношение между добротою и злобою в человеческой жизни изображено этими шуточными стихами гораздо лучше, чем я мог бы его изобразить своею серьезною прозой. И у меня нет ни малейшего сомнения, что, когда герои иных всемирно знаменитых романов, искусно и серьезно распахивающих психологический чернозем, будут только литературным воспоминанием для книжников, этот фарс, в смешных и дико карикатурных чертах затронувший подпочвенную глубину нравственного вопроса, сохранит всю свою художественную и философскую правду.

[85] Дама. Ну, я вашим парадоксам не верю. Вы одержимы духом противоречия и нарочно всегда бравируете общественное мнение.

[86] Г. Z. Я, вероятно, "бравировал" бы его, если бы оно существовало. Но историю о камергере Деларю я вам все-таки сообщу, так как вы ее не знаете, а я помню ее наизусть.

[87] Вонзил кинжал убийца нечестивый В грудь Деларю. Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво: "Благодарю". Тут в

левый бок ему кинжал ужасный Злодей вогнал, А Деларю сказал: "Какой прекрасный У вас кинжал!" Тогда злодей, к нему зашедши справа, Его пронзил. А Деларю с улыбкою лукавой Лишь погрозил. Истыкал тут злодей ему, пронзая, Все телеса, А Деларю: "Прошу на чашку чая К нам в три часа". Злодей пал ниц и, слез проливши много, Дрожал, как лист, А Деларю: "Ах, встаньте, ради Бога! Здесь пол нечист". Но все у ног его в сердечной муке Злодей рыдал, А Деларю сказал, расставя руки: "Не ожидал! Возможно ль? Как?! Рыдать с такою силой? — По пустякам?! Я вам аренду выхлопочу, милый, — Аренду вам! Через плечо дадут вам Станислава Другим в пример. Я дать совет властям имею право: Я камергер! Хотите дочь мою просватать, Дуню? А я за то Кредитными билетами отслюню Вам тысяч сто. А вот пока вам мой портрет на память, — Приязни в знак. Я не успел его еще обрамить, — Примите так!" Тут едок стал и даже горче перца Злодея вид. Добра за зло испорченное сердце, Ах! не простит. Высокий дух посредственность тревожит, Тем страшен свет. Портрет еще простить убийца может, Аренду ж — нет. Зажглась в злодее зависти отрава Так горячо, Что, лишь надел мерзавец Станислава Через плечо, — Он окунул со злобою безбожной Кинжал свой в яд И, к Деларю подкравшись осторожно, Хвать друга в зад! Тот на пол лег, не в силах в страшных болях На кресло сесть. Меж тем злодей, отняв на антресолях У Дуни честь, — Бежал в Тамбов, где был, как губернатор, Весьма любим. Потом в Москве, как ревностный сенатор, Был всеми чтим. Потом он членом сделался совета В короткий срок... Какой пример для нас являет это, Какой урок!

[88] Дама. Ах, как мило, я и не ожидала!

[89] Политик. В самом деле превосходно. "Кредитными билетами отслюню!" — чудесно. "Аренду ж — нет!" и "Бежал в Тамбов!" — deux vrais coups de maitre!

[90] Г. Z. Но правдивость-то какая, вы заметьте. Деларю не та "очищенная добродетель", которой в природе не встречается. Он живой человек со всеми человеческими слабостями — и тщеславием ("я камергер!"), и стяжательностью (припасены сто тысяч), а его фантастическая непроницаемость для злодейского кинжала есть лишь очевидный символ его беспредельного добродушия, неодолимого и даже нечувствительного для всяких обид, что все-таки бывает, хотя и очень редко. Деларю не олицетворение добродетели, а натуральный добрый человек, у которого сердечная доброта одолела дурные качества и вытеснила их на душевную поверхность в виде безобидных слабостей. Так же "злодей" — вовсе не ходячий экстракт порока, а обыкновенная смесь добрых и злых качеств; но у него зло зависти засело в самой глубине души и вытеснило все доброе на душевную эпидерму, так сказать, где доброта приняла вид очень живой, но поверхностной чувствительности. Когда на ряд жестоких обид Деларю отвечает учтивыми словами и приглашением на чашку чая, чувствительность нравственной эпидермы у "злодея" сильно затронута этими проявлениями благовоспитанности, и он предается самому экспансивному раскаянию. Когда же учтивость камергера переходит в сердечное участие истинно доброго человека, который платит своему врагу за зло не кажущимся только добром вежливых слов и жестов, а действительным и живым добром практической помощи, — когда Деларю входит в житейское положение своего злодея, готов поделиться с ним своим состоянием, устроить его

служебные дела и даже его семейное благополучие, — тогда эта действительная доброта, проникая в более глубокие моральные слои злодея, обнаруживает его внутреннюю нравственную негодность и, достигая наконец до дна его души, будит там крокодила зависти. Не доброте Деларю завидует злодей — он ведь сам может быть добрым, — разве он не чувствовал своей доброты, когда "рыдал в сердечной муке", — нет, он завидует именно недостижимой для него бездонности и простой серьезности этой доброты:

[91] Портрет еще простить убийца может, Аренду ж — нет!

[92] Разве это не реально, разве не так бывает в живой действительности? От одной и той же влаги живительного дождя растут и благотворные силы в целебных травах, и яд — в ядовитых. Так же и действительное благодеяние в конце концов увеличивает добро в добром и зло — в злом. Так должны ли мы, имеем ли даже право всегда и без разбора давать волю своим добрым чувствам? Можно ли похвалить родителей, усердно поливающих из доброй лейки ядовитые травы в саду, где гуляют их дети? Дуня-то за что погибла, я вас спрашиваю?

[93] Генерал. Вот это верно! Если бы Деларю изрядно накостылял затылок своему злодею и выгнал его из дому, так ведь тому не до антресолей бы было!

[94] Г. Z. В самом деле, пускай он имеет право жертвовать себя своей доброте, пускай, как в старину были мученики веры, так теперь должны быть мученики доброты. Но с Дуней-то как быть, я вас спрашиваю? Ведь она глупа и молода и ничего собою доказать не может и не желает. Так неужели ее не жалко?

95 Политик. Положим, жалко. Но мне еще более жалко, что антихрист-то, кажется, от нас вместе со злодеем в Тамбов убежал.

96 Г. Z. Поймаем, ваше высокопревосходительство, поймаем! — Вчера вы изволили указать смысл истории в том, что натуральное человечество, состоящее первоначально из множества более или менее диких народов, чуждых друг другу, частью не знающих друг о друге, а частью прямо враждующих между собой, постепенно выделяет из себя лучшую, образованную часть — культурный или европейский мир, который постепенно растет и разрастается и наконец должен охватить и все отставшие в этом историческом движении народы, включая их в одно солидарное и мирное международное целое. Установление вечного международного мира — вот ваша формула, не так ли?

97 Политик. Да, и эта формула в своей предстоящей и уже недалекой реализации покроет собою гораздо больше существенных культурных успехов, чем может теперь казаться. Вы только подумайте, сколько дурного будет по необходимости атрофировано и сколько хорошего по самой природе вещей возникнет и разовьется. Сколько сил будет освобождено для производительных занятий, как процветут науки и искусства, промышленность и торговля...

98 Г. Z. Ну а уничтожение болезней и смерти включаете вы в число предстоящих успехов культуры?

99 Политик. Разумеется... до некоторой степени. Уже и теперь много сделано по части санитарных условий, гигиены, антисептики... органотерапии...

[100] Г. Z. А эти несомненные успехи в положительную сторону разве не уравновешиваются столь же несомненным прогрессом невропатических и психопатических явлений вырождения, сопровождающих развитие культуры?

[101] Политик. Ну, на каких же это весах взвешивать?

[102] Г. Z. Во всяком случае бесспорно, что растет плюс, растет и минус, а в результате получается что-то близкое к нулю. Это насчет болезней. Ну а касательно смерти, кажется, кроме нуля, ничего и не было в культурном прогрессе.

[103] Политик. Да разве культурный прогресс ставит себе такие задачи, как уничтожение смерти?

[104] Г. Z. Знаю, что не ставит, но ведь потому и его самого очень высоко ставить нельзя. Ну, в самом деле, если бы я знал наверно, что и я сам, и все, что мне дорого, должно навсегда исчезнуть, не было ли бы для меня все равно, дерутся ли где-нибудь между собою разные народы или живут в мире, культурны они или дики, учтивы или неучтивы?

[105] Политик. Да, с личной, эгоистической точки зрения, конечно, это все равно.

[106] Г. Z. Как с эгоистической? Извините, со всякой точки зрения. Смерть все равняет, и перед нею эгоизм и альтруизм одинаково бессмысленны.

[107] Политик. Пусть так, но ведь бессмысленность эгоизма не мешает быть нам эгоистами, точно так же альтруизм, насколько он вообще возможен, обойдется и без разумных оснований, и рассуждение о смерти тут ни при чем. Я знаю, что мои дети и внуки умрут, но это не мешает мне

заботиться об их благе так, как если бы оно было вечное. Я тружусь для них прежде всего потому, что люблю их, и отдавать им свою жизнь доставляет мне удовлетворение. "Я вкус в том нахожу". C'est simple comme bonjour.

[108] Дама. Да, пока все хорошо идет, хотя и тут мысль о смерти все-таки приходит. Ну а как с детьми и внуками пойдут разные несчастья? Какое тут удовлетворение и какой вкус? Это все равно как водяные цветы на трясине: схватишь и провалишься.

[109] Г. Z. Да и помимо этого о детях и внуках вам можно и необходимо заботиться quand meme, не решая и даже не ставя вопроса о том, могут ли ваши заботы доставить им действительное и окончательное благо. Вы о них заботитесь не для чего-нибудь, а потому, что имеете к ним живую любовь; но такую любовь нельзя иметь к не существующему еще человечеству будущего, и тут вступает во все свои права вопрос разума об окончательном смысле, или цели, наших забот, и если этот вопрос в высшей инстанции решается смертью, если последний результат вашего прогресса и вашей культуры есть все-таки смерть каждого и всех, то ясно, что всякая прогрессивная культурная деятельность — ни к чему, что она бесцельна и бессмысленна. (Тут говоривший вдруг остановился, и прочие собеседники повернули головы к звякнувшей калитке и несколько мгновений пребывали в изумлении. В сад вошел и неровными шагами приближался к беседующим — Князь.)

[110] Дама. Ах! А мы ведь об антихристе еще и не начинали.

[111] Князь. Это все равно. Я раздумал, и мне кажется, что я напрасно высказал дурное чувство к заблуждениям моих ближних, не выслушав их оправдания.

112 Дама (торжествующим тоном к генералу). Вот видите! Ну что?

113 Генерал (сухо). Ничего.

114 Г. Z (князю). Вы очень кстати подошли. Речь идет теперь о том, стоит ли заботиться о прогрессе, если знать, что конец его всегда есть смерть для всякого человека, дикарь ли он или самый что ни на есть образованный европеец будущего? Что бы вы сказали по вашей доктрине?

115 Князь. Истинно христианское учение даже не допускает такой постановки вопроса. Евангельское решение вопроса "с особенной яркостью и силой выражено в притче о виноградарях. Виноградари вообразили себе, что сад, куда они были посланы для работы на хозяина, был их собственностью, что все, что было в саду, сделано для них, и что их дело только в том, чтобы наслаждаться в этом саду своею жизнью, забыв о хозяине и убивая тех, которые напоминали им о хозяине и об обязанностях к нему. Как те виноградари, так и теперь почти все люди живут в нелепой уверенности, что они сами хозяева своей жизни, что она дана им для их наслаждения. А ведь это, очевидно, нелепо. Ведь если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и для чего-нибудь. А мы решили, что мы как грибы: родились и живем только для своей радости, и ясно, что нам дурно, как будет дурно работнику, не исполняющему воли хозяина. Воля же хозяина выражена в учении Христа. Только исполняй люди это учение, и на земле установится Царствие Божие, и люди получат наибольшее благо, которое доступно им. В этом все. Ищите Царства Божия и правды его, а остальное приложится вам. Мы ищем остального и не находим его, и не только не устанавливаем Царства

Божия, но разрушаем его" разными своими государствами, войсками, судами, университетами, фабриками.

[116] Генерал (в сторону). Ну, завели машину!

[117] Политик (князю).Вы кончили?

[118] Князь. Да.

[119] Политик. Я должен сказать, что ваше решение вопроса кажется мне просто непонятным. Вы как будто рассуждаете, что-то доказываете и разъясняете, в чем-то хотите убедить, а между тем все, что говорите, — ряд произвольных и ничем между собою не связанных утверждений. Например, вы говорите: если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и для чего-нибудь. Это, кажется, ваша главная мысль, но что же это такое? Откуда вы взяли, что мы сюда кем-то и для чего-то посланы? Кто вам это сказал? Что мы здесь, на земле, существуем — это верно, но чтобы наше существование было каким-то посланничеством — это вы совершенно голословно утверждаете. Когда я, например, был в молодости посланником, то я знал это несомненно, а также кем и зачем послан — знал, во-первых, потому, что у меня были на то бесспорные документы, во-вторых, потому, что я имел и личную аудиенцию у покойного императора Александра Николаевича и лично получил Высочайшие инструкции, а в-третьих, потому, что я каждую треть года получал 10 000 руб. золотом. Ну а если бы вместо всего этого посторонний человек на улице подошел ко мне и объявил, что я посланник и послан туда-то и для того-то, так ведь я стал бы только озираться по сторонам, нет ли поблизости городового, чтобы защитить меня от этого манияка, который может,

пожалуй, и на жизнь мою покуситься. А что касается до настоящего случая, то ведь бесспорных документов от вашего предполагаемого хозяина у вас нет, личной аудиенции вы у него не имели, жалованья от него не получаете, какой же вы посланник? А между тем вы не только себя, но и всех прочих не то в посланники, не то в рабочие записали. По какому праву? На каком основании — не понимаю. Мне представляется, что это какая-то риторическая импровизация, fres mal inspiree d'ailleurs.

120 Дама. Ну, вы опять прикидываетесь. Вы отлично понимаете, что князь вовсе не ваше неверие опровергать хотел, а излагал общий христианский взгляд, что все мы зависим от Бога и обязаны служить Ему.

121 Политик. Ну, я службы без жалованья не понимаю, и, если оказывается, что жалованье тут всем одно — смерть, je presente mes compliments.

122 Дама. Но ведь все равно умрете, никто вас спрашивать не будет.

123 Политик. Вот именно это "все равно" и доказывает, что жизнь не есть служба, и если не требуется моего согласия для моей смерти, как и для моего рождения, то я предпочитаю видеть в смерти, как и в жизни, то, что в них действительно есть, именно необходимость природы, а не выдумывать какую-то службу какому-то хозяину. А заключение мое такое: живи, пока живется, и старайся жить как можно умней и лучше, а условие умной и хорошей жизни есть мирная культура. Впрочем, я полагаю, что и на почве христианского учения мнимое решение вопроса, предложенное князем, не выдерживает критики; но об этом пусть скажут люди, более меня компетентные.

[124] Генерал. Да какое же тут решение? Ни решения, ни постановки, а один только словесный обход вопроса. Это все равно как если бы я на плане окружил своими начерченными батальонами начерченную неприятельскую крепость и вообразил бы, что я ее взял. В этом роде ведь случалось, знаете, как в известной солдатской песне поется:

[125] Как четвертого числа Нас нелегкая несла Горы занимать. ..... Наезжали князья, графы, И чертили топографы На больших листах. Гладко вышло на бумаге Да забыли про овраги, А по ним ходить.

[126] А результат известен:

[127] На Федюхины высоты Нас пришло всего две роты, А пошли полки.

[128] Князь. Ничего не понимаю! И это все, что вы можете возразить на то, что я говорил?

[129] Генерал. А в том, что вы говорили, мне особенно показалось непонятно насчет грибов, что будто они живут для своей радости. А я всегда полагал, что они живут для радости тех, кто любит грибы в сметане или пироги с грибами. Ну а ежели ваше Царствие Божие на земле оставляет смерть нетронутой, то ведь выходит, что люди поневоле живут и в вашем Царстве Божием будут жить именно как грибы — не выдуманные вами веселые грибы, а действительно грибы, которые на сковороде жарят. Ведь и для людей в нашем земном Царстве Божием все дело будет кончаться тем, что их смерть съест.

[130] Дама. Князь этого не говорил.

[131] Генерал. Ни этого, ни другого. Какая же причина такого умолчания о самом важном пункте?

[132] Г. Z. Прежде чем поднимать этот вопрос, я желал бы узнать, откуда взята притча, в которой вы, князь, выразили свой взгляд? Или это ваше собственное сочинение?

[133] Князь. Как сочинение? Ведь это же из Евангелия.

[134] Г. Z. Нет, что вы! Ни в каком Евангелии такой притчи не находится.

[135] Дама. Бог с вами! Что вы князя с толку сбиваете? Есть ведь притча о виноградарях в Евангелии.

[136] Г. Z. Есть нечто похожее по внешней фабуле, но ведь совсем о другом по содержанию и смыслу, который тут же и указан.

[137] Дама. Что вы? Полноте! Мне кажется, совсем такая же притча. Да вы что-то мудрите, — я вам на слово не верю.

[138] Г. Z. И не нужно: книжка-то у меня в кармане (тут он вынул Новый Завет малого формата и стал его перелистывать). Притча о виноградарях находится у трех евангелистов: Матфея, Марка и Луки, но сколько-нибудь значительной разницы между тремя вариантами нет. Так довольно будет прочесть в одном Евангелии, более подробном, — у Луки. Это в главе двадцатой, где излагается последняя, заключительная проповедь Христа народу. Дело приблизилось к развязке, и вот рассказывается (конец XIX и начало XX главы), как противники Христа — партия первосвященников и книжников — сделали на Него решительное и прямое нападение, требуя всенародно, чтобы Он представил полномочия своей деятельности, сказал бы, по какому праву, в силу какой власти Он действует. Но позвольте, я уж лучше прочту (читает): "И учил Он каждый день во храме. Первосвященники же и книжники искали погубить

Его, да и старейшины народные, но не находили, что бы тут сделать, ибо весь народ неотступно слушал Его. И было в один из тех дней, когда Он учил народ во храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали Ему: "Скажи нам, по какой власти Ты так поступаешь, или кто дал Тебе эту власть?" — Он же сказал им в ответ: "Спрошу и Я вас об одном: крещение Иоанново с небес было или от людей?" — Они же рассуждали между собою, говоря: если скажем, что с небес, спросит: "Почему вы не поверили ему?" — а если скажем: от людей, — весь народ побьет нас каменьями, потому что он уверен, что Иоанн — пророк; и отвечали, что не знают откуда. И сказал им Иисус: "Так и Я не скажу вам, какою властью это делаю"...

[139] Дама. К чему же вы это читаете? Что Христос не отвечал, когда к Нему приставали, это хорошо. Но при чем же тут притча о виноградарях?

[140] Г. Z. Подождите, это все к одному. И вы напрасно говорите, что Христос не отвечал. Он ответил совершенно определенно, и притом вдвойне: указал на такого свидетеля своих полномочий, которого не решились отвергнуть спрашивавшие, а затем доказал, что у них самих нет настоящей власти и прав над Ним, так как они действуют лишь по страху народа, из боязни за жизнь свою применяясь к мнениям толпы. Но ведь настоящая власть та, которая не идет за другими, а ведет других за собою. Боясь и слушаясь народа, эти люди показали, что настоящая власть от них ушла и принадлежит народу. К нему теперь и обращается Христос, чтобы перед ним обвинить их за сопротивление Себе. В этом обвинении недостойных национальных вождей еврейства за их сопротивление Мессии — все содержание евангельской

притчи о виноградарях, как вы сами сейчас увидите (читает): "Начал же к народу говорить притчу сию. Человек некий насадил виноградник и отдал его виноградарям; и отлучился на довольно долгое время. И в должный срок послал он к виноградарям раба, чтобы дали ему от плода виноградника. Виноградари же, побив его, отослали ни с чем. И положил послать другого раба; они же и его, побив и обесчестив, отослали ни с чем. И положил послать третьего; они же и того, изранив, выбросили. И сказал хозяин виноградника: "Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, видя его, устыдятся". Увидя его, виноградари рассуждали между собою, говоря: "Этот ведь — наследник; давайте убьем его, чтобы нам досталось наследство". И, выбросив его из виноградника, убили. Так что же сделает .им хозяин виноградника? Придет и погубит этих виноградарей и даст виноградник другим. — Слышавшие же это сказали: "Да не будет!" — Он же, взглянув на них, сказал: "Так что значит написанное: камень, тот, что отвергли строители, — он стал во главу угла; всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит". — И хотели первосвященники и книжники наложить на Него руки в тот час, да побоялись народа; ибо поняли они, что про них сказал Он эту притчу". Про кого же и про что, я спрашиваю, сказана притча о винограднике?

141 Князь. Не понимаю, в чем же тут ваше возражение? Иудейские первосвященники и книжники обиделись потому, что они были и сознавали себя образчиками тех дурных мирских людей, о которых говорилось в притче.

142 Г. Z. Но в чем же, собственно, они здесь обличались?

143 Князь. В неисполнении истинного учения.

144 Политик. Ясно, кажется: эти негодяи жили, как грибы, для своей радости, курили табак, пили водку, ели убоину и даже своего бога ею угощали, притом женились, председательствовали в судах и участвовали в войнах.

145 Дама. Вы думаете, что глумиться таким образом прилично вашему возрасту и положению? — Вы его не слушайте, князь. Мы с вами хотим говорить серьезно. Скажите мне вот что: ведь в евангельской притче в самом деле виноградари гибнут потому, что убили хозяйского сына и наследника, — и это главное дело по Евангелию, — почему же вы это пропускаете?

146 Князь. Потому пропускаю, что это относится к личной судьбе Христа, которая, конечно, имеет свою важность и интерес, но все-таки несущественна для того, что есть единое на потребу.

147 Дама. То есть?

148 Князь. То есть для исполнения евангельского учения, которым достигается Царство Божие и правда Его.

149 Дама. Постойте на минуточку: у меня что-то в голове все запуталось... В чем, бишь, дело?.. Да. (К г. Z.). У вас Евангелие в руках, — так скажите, пожалуйста, о чем еще в этой главе говорится, после притчи?

150 Г. Z. (перелистывая книжку). А говорится о том, чтобы отдавать должное Кесарю, потом о воскресении мертвых, что мертвые воскреснут, потому что Бог не есть Бог мертвых, но живых, а затем доказывается, что Христос не есть сын Давидов, а Сын Божий, — ну а два последние стиха — против лицемерия и тщеславия книжников.

151 Дама. Вот видите, князь: ведь и это тоже — евангельское учение: чтобы признавать государство в

мирских делах, чтобы верить в воскресение мертвых и что Христос не простой человек, а Сын Божий.

152 Князь. Но разве можно заключать из одной главы, неизвестно кем и когда составленной?

153 Дама. Ах, нет! Это уж я и без справки знаю, что не одна глава, а во всех четырех Евангелиях очень много и насчет воскресения, и насчет божественности Христа — особенно у Иоанна, его и на похоронах читают.

154 Г. Z. А насчет того, будто неизвестно, кем и когда составлено, то и свободная немецкая критика теперь уже признала, что все четыре Евангелия — происхождения апостольского, первого века.

155 Политик. Да и в 13-м издании "Vie de Jesus" я заметил будто ретрактацию насчет четвертого Евангелия.

156 Г. Z. Нельзя же от учителей отставать. Но главная-то беда, князь, в том, что, каковы бы ни были наши четыре Евангелия, когда бы и кем они ни были составлены, другого-то Евангелия, более, по-вашему, достоверного и согласного с вашим "учением", ведь не существует.

157 Генерал. Как не существует? А пятое, где Христа нет, а одно только учение — насчет убоины и военной службы.

158 Дама. И вы тоже? Стыдно! Знайте, что чем больше вы с вашим штатским союзником будете дразнить князя, тем больше я буду на его стороне. Я уверена, князь, что вы хотите брать христианство с самой лучшей стороны и что ваше Евангелие, хотя не есть то же, что наше, но в том роде, как в старину сочиняли книжки Fespirit de M. de Montesquiau, Fespirit de Fenelon, так и вы или ваши учителя хотели сочинить Fespirit de FEvangile. Только жаль, что этого никто из ваших в особой маленькой

книжке не сделал, которую так и можно было бы назвать: "Дух христианства по учению таких-то". Вам необходимо иметь что-нибудь вроде катехизиса, чтобы мы, простые люди, не теряли нити во всех этих вариациях. То мы слышим, что главная суть в Нагорной проповеди, то вдруг нам говорят, что прежде всего нужно трудиться в поте лица над земледелием, — хоть этого в Евангелии нет, а есть в Книге Бытия, там же, где в болезнях родить, — но ведь это же не заповедь, а только печальная судьба; то говорят, что нужно все раздать нищим, а то — никому ничего не давать, потому что деньги — зло и нехорошо делать зло другим, а только себе и своей семье, а для других нужно только трудиться; то опять говорят: ничего не делать, а только размышлять; то говорят: призвание женщины — родить как можно больше здоровых детей, — а там вдруг — совсем ничего такого не надо, потом мясного не есть — первая ступень, а почему первая — никому не известно; потом против водки и табака, потом блины; а потом военная служба, что главная беда в ней и главная обязанность христианина есть от нее отказываться, а кого в солдаты не берут, тот, значит, и так свят. Я, может быть, вздор говорю, но не моя вина: никак нельзя во всем этом разобраться.

159 Князь. Я тоже думаю, что нам необходимо толковое резюме истинного учения, — кажется, его теперь и составляют.

160 Дама. Ну а пока составят, скажите нам теперь в двух словах, в чем же сущность Евангелия, по-вашему?

161 Князь. Кажется, ясно, что в великом принципе непротивления злу насилием.

162 Политик. А как же отсюда табак вывести?

163 Князь. Какой табак?

164 Политик. Ах, Боже мой! Я спрашиваю, какая связь между принципом непротивления злу и требованиями воздержания от табака, вина, мяса, любовных дел?

165 Князь. Кажется, связь ясная: все эти порочные привычки одуряют человека — заглушают в нем требования его разумного сознания или совести. Вот почему солдаты обыкновенно отправляются пьяными на войну.

166 Г. Z. Особливо на войну неудачную. Но это можно оставить. Правило непротивления злу важно само по себе, оправдывает ли оно или нет аскетические требования. По-вашему, если мы не будем сопротивляться злу силою, то зло сейчас же и исчезнет. Значит, оно держится только нашим сопротивлением или теми мерами, которые мы принимаем против зла, а собственной действительной силы оно не имеет. В сущности зла вовсе нет, оно является только вследствие нашего ошибочного мнения, по которому мы полагаем, что зло есть, и начинаем действовать согласно этому предположению. Так ведь.

167 Князь. Конечно, так.

168 Г. Z. Но если зла в действительности нет, то как вы объясняете поразительную неудачу дела Христова в истории? Ведь, с вашей точки зрения, оно совсем не удалось, так что в конце концов из него ничего не вышло, то есть, во всяком случае, вышло гораздо больше дурного, чем хорошего.

169 Князь. Почему это?

170 Г. Z. Вот странный вопрос! Ну, если вам это непонятно, разберем по порядку. Христос и по-вашему

всех яснее, сильнее и последовательнее проповедовал истинное добро. Так?

171 Князь. Да.

172 Г. Z. А истинное добро в том, чтобы не сопротивляться насилием злу, то есть мнимому злу, так как настоящего зла нет.

173 Князь. Так.

174 Г. Z. Христос не только проповедовал, но и сам до конца исполнил требования этого добра, подвергшись без сопротивления мучительной казни. Христос, по-вашему, умер и не воскрес. Прекрасно. По Его примеру многие тысячи Его последователей претерпели то же самое. Прекрасно. И что же из этого всего вышло, по-вашему?

175 Князь. А вы хотели бы, чтобы на этих мучеников ангелы какие-нибудь блестящие венки надели и поместили их где-нибудь под кущами райских садов в награду за их подвиги?

176 Г. Z. Нет, зачем же так говорить? Конечно, и я, и вы, надеюсь, хотели бы для всех наших ближних, и живых, и умерших, всего самого лучшего и приятного. Но ведь дело идет не о ваших желаниях, а о том, что, по-вашему, вышло действительно из проповеди и подвига Христа и его последователей.

177 Князь. Для кого вышло? Для них?

178 Г. Z. Ну, для них-то известно, что вышла мучительная смерть, но они, конечно, по своему нравственному героизму подвергались ей охотно и не для того, чтобы получить блестящие венцы себе, а для того, чтобы доставить истинное благо другим, всему человечеству. Так я вот и спрашиваю: какими благами мученический

подвиг этих людей одарил других-то, все человечество? По старинному изречению, кровь мучеников была семенем церкви. Это фактически верно, но ведь, по-вашему, церковь была искажением и гибелью истинного христианства, так что оно даже совсем было забыто в человечестве и через осьмнадцать веков потребовалось все сначала восстановлять без всяких ручательств лучшего успеха, то есть совсем безнадежно?

179 Князь. Почему безнадежно?

180 Г Z. Да ведь вы же не отрицаете, что Христос и первые поколения христиан всю душу свою положили в это дело и отдали за него жизнь свою, и если тем не менее из этого ничего не вышло, по-вашему, то на чем же для вас-то могут основываться надежды иного исхода? Один только и есть несомненный и постоянный конец всего этого дела, совершенно одинаковый и для его начинателей, и для его исказителей и губителей, и для его восстановителей: все они, по-вашему, в прошедшем умерли, в настоящем умирают, в будущем умрут, а из дела добра, из проповеди истины никогда ничего, кроме смерти, не выходило, не выходит и не обещает выйти. Что же это значит? Какая странность: несуществующее зло всегда торжествует, а добро всегда проваливается в ничтожество.

181 Дама. А разве злые не умирают?

182 Г. Z. И весьма. Но дело в том, что сила зла царством смерти только подтверждается, а сила добра, напротив, опровергалась бы. И в самом деле, зло явно сильнее добра, и если это явное считать единственно реальным, то должно признать мир делом злого начала. А каким образом люди умудряются, стоя исключительно на почве явной, текущей действительности и, следовательно,

признавая явный перевес зла над добром, вместе с тем утверждать, что зла нет и что, следовательно, с ним не нужно бороться, — этого я своим разумом не понимаю и жду помощи со стороны князя.

183 Политик. Ну а сначала вы свой-то выход из этого затруднения укажите.

184 Г. Z. Кажется, он прост. Зло действительно существует, и оно выражается не в одном отсутствии добра, а в положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над высшими во всех областях бытия. Есть зло индивидуальное — оно выражается в том, что низшая сторона человека, скотские и зверские страсти противятся лучшим стремлениям души и осиливают их в огромном большинстве людей. Есть зло общественное — оно в том, что людская толпа, индивидуально порабощенная злу, противится спасительным усилиям немногих лучших людей и одолевает их; есть, наконец, зло физическое в человеке — в том, что низшие материальные элементы его тела сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организма, сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое смертью. И если бы победу этого крайнего физического зла нужно было признать как окончательную и безусловную, то никакие мнимые победы добра, в области лично нравственной и общественной, нельзя было бы считать серьезными успехами. В самом деле, представим себе, что человек добра, скажем Сократ, восторжествовал не только над своими внутренними врагами — дурными страстями, но что ему еще удалось убедить и исправить общественных своих врагов, преобразовать эллинскую политию, — какая

польза в этой эфемерной и поверхностной победе добра над злом, если оно торжествует окончательно в самом глубоком слое бытия, над самыми основами жизни? Ведь и исправителю, и исправленным — один конец: смерть. По какой логике можно было бы высоко ценить нравственные победы сократовского добра над нравственными микробами дурных страстей в его груди и над общественными микробами афинских площадей, если бы настоящими-то победителями оказались еще худшие, низшие, грубейшие микробы физического разложения? Тут против крайнего пессимизма и отчаяния не защитит никакая моральная словесность.

185 Политик. Это уж мы слыхали. А вы-то на что опираетесь против отчаяния?

186 Г. Z. Наша опора одна: действительное воскресение. Мы знаем, что борьба добра со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже, в мире физическом. И здесь мы уже знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни — в личном воскресении Одного — и ждем будущих побед в собирательном воскресении всех. Тут и зло получает свой смысл или окончательное объяснение своего бытия в том, что оно служит все к большему и большему торжеству, реализации и усилению добра: если смерть сильнее смертной жизни, то воскресение в жизнь вечную сильнее и того и другого. Царство Божие есть царство торжествующей чрез воскресение жизни — в ней же действительное, осуществляемое, окончательное добро. В этом вся сила и все дело Христа, в этом Его действительная любовь к нам и наша к Нему. А все остальное — только условие, путь, шаги. Без веры в совершившееся воскресение Одного и без чаяния будущего воскресения всех можно только на словах

говорить о каком-то Царствии Божием, а на деле выходит одно царство смерти.

187 Князь. Как так?

188 Г. Z. Да ведь вы же не только признаете вместе со всеми факт смерти, т.е. что люди вообще умирали, умирают и еще будут умирать, но вы, сверх того, возводите этот факт в безусловный закон, из которого, по-вашему, нет ни одного исключения, а тот мир, в котором смерть навсегда имеет силу безусловного закона, как же его назвать, как не царством смерти? И что такое ваше Царство Божие на земле, как не произвольный и напрасный эвфемизм для царства смерти?

189 Политик. И я думаю, что напрасный, потому что нельзя известную величину заменять неизвестною. Бога ведь никто не видал, и что такое может быть Его Царство — никому не известно; а смерть людей и животных все мы видали и знаем, что от нее, как от верховной власти в мире, никому не уйти. Так зачем же вместо этого а мы будем какой-то х ставить? Кроме путаницы и соблазна "малых", этим ничего не произведешь.

190 Князь. Я не понимаю, о чем тут разговор? Смерть есть явление, конечно, очень интересное, можно, пожалуй, называть ее законом, как явление постоянное среди земных существ, неизбежное для каждого из них; можно говорить и о безусловности этого "закона", так как до сих пор не было достоверно констатировано ни одного исключения, — но какую же все это может иметь существенную жизненную важность для истинного христианского учения, которое говорит нам через нашу совесть только об одном: что мы должны и чего не должны делать здесь и теперь? И ясно, что голос совести

может относиться только к тому, что в нашей власти делать или не делать. Поэтому совесть не только ничего не говорит нам о смерти, но и не может говорить. При всей своей огромности для наших житейских, мирских чувств и желаний смерть не в нашей воле и потому никакого нравственного значения для нас иметь не может. В этом отношении — а оно ведь есть единственно важное по-настоящему — смерть есть такой же безразличный факт, как, например, дурная погода. Что я признаю неизбежное периодическое существование дурной погоды и более или менее терплю от нее, так неужели поэтому я должен вместо Царства Божия говорить: царство дурной погоды?

191 Г. Z. Нет, не должны, во-первых, потому, что она царствует только в Петербурге, а мы вот с вами приехали сюда, к Средиземному морю, и смеемся над ее царством; — а, во-вторых, ваше сравнение не подходит потому, что и при дурной погоде можно Бога хвалить и чувствовать себя в Его царстве, ну а мертвые, как сказано в Писании, Бога не хвалят, а потому как заметил и его высокопревосходительство, этот печальный мир приличнее называть царством смерти, нежели Царством Божиим.

192 Дама. Ну что вы все об названиях, — это скучно! Разве дело в названиях? Скажите лучше, князь, что вы, собственно, разумеете под Царством Божиим и правдой Его?

193 Князь. Я разумею такое состояние людей, когда они действуют только по чистой совести и таким образом исполняют волю Божию, которая предписывает им одно только чистое добро.

194 Г. Z. Но притом голос совести, по-вашему, говорит непременно только об исполнении должного теперь и здесь.

195 Князь. Разумеется.

196 Г. Z. Ну а разве ваша совесть совсем молчит насчет того недолжного, что вы делали, положим, в отрочестве относительно лиц давно умерших?

197 Князь. Тогда смысл этих напоминаний в том, чтобы я ничего подобного не делал теперь.

198 Г. Z. Ну, это не совсем так, но спорить об этом не стоит. Я хочу вам только напомнить другую, более несомненную границу совести. Уже давно моралисты сравнивают голос совести с тем гением, или демоном, который сопровождал Сократа, предостерегая его от недолжных поступков, но никогда не указывая положительно, что ему нужно делать. Совершенно то же можно сказать и про совесть.

199 Князь. Как же это так? Разве совесть не внушает мне, например, помочь моему ближнему в известных случаях нужды или опасности?

200 Г. Z. Очень приятно' слышать это от вас. Но если вы хорошенько разберете такие случаи, то увидите, что роль совести и здесь оказывается чисто отрицательною: она требует от вас только не оставаться бездейственным или равнодушным перед нуждою ближнего, а что и как именно вы должны для него сделать — этого сама совесть вам не говорит.

201 Князь. Ну да, потому что это зависит от обстоятельств дела, от положения моего и того ближнего, которому я должен помочь.

202 Г. Z. Разумеется, а оценка и соображение этих обстоятельств и положений ведь не есть дело совести, а ума.

203 Князь. Но разве можно отделять разум от совести?

204 Г. Z. Отделять не нужно, различать должно именно потому, что в действительности иногда происходит не только отделение, но и противоположение между умом и совестью. Если бы они были одно и то же, то каким образом мог бы ум служить для дел не только посторонних нравственности, но и прямо безнравственных? А ведь это же бывает. Ведь даже помощь может быть подана умно, но бессовестно, если я, например, накормлю, напою и окажу всякие благодеяния нуждающемуся человеку, чтоб сделать из него необходимого мне пособника для удачного совершения какого-нибудь мошенничества или другого дурного дела.

205 Князь. Ну да, это элементарно. Но что же вы отсюда выводите?

206 Г. Z. А то, что ежели голос совести, при всем своем значении как предостерегателя и укорителя, не дает положительных и практически определенных указаний для нашей деятельности и наша добрая воля нуждается в уме как служебном орудии, а между тем ум оказывается для нее сомнительным слугою, так как он одинаково способен и готов служить двум господам — и добру и злу, то, значит, для исполнения воли Божией и достижения Царства Божия кроме совести и ума нужно еще что-нибудь третье.

207 Князь. Что же это такое, по-вашему?

208 Г. Z. Коротко сказать, вдохновение добра, или прямое и положительное действие самого доброго начала на нас

и в нас. При таком содействии свыше и ум и совесть становятся надежными помощниками самого добра, и нравственность, вместо всегда сомнительного "хорошего поведения", становится несомненною жизнью в самом добре — органическим ростом и совершенствованием целого человека — внутреннего и внешнего, лица и общества, народа и человечества, чтобы завершиться живым единством воскрешаемого былого с осуществляемым будущим в том вечном настоящем Царства Божия, которое хотя будет и на земле, но лишь на новой земле, любовно обрученной с новым небом.

[209] Князь. Я ничего не имею и против таких поэтических метафор, но почему же вы думаете, что в людях, исполняющих волю Божию по евангельским заповедям, отсутствует то, что вы называете "вдохновением добра"?

[210] Г. Z. Не только потому, что я не вижу в их деятельности признаков этого вдохновения, свободных и безмерных порывов любви, — потому что ведь не мерою дает Бог духа, — не вижу также радостного и благодушного спокойствия в чувстве обладания этими дарами, хоть бы только начальными, — но главным образом я потому предполагаю у вас отсутствие религиозного вдохновения, что ведь оно, по-вашему, и не нужно. Если добро исчерпывается исполнением "правила", то где же тут место для вдохновения? "Правило" раз навсегда дано, определено и одинаково для всех. Давший это правило давно умер и, по-вашему, не воскрес, и личного живого существования он для нас ведь не имеет, а безусловное, первоначальное добро представляется вам не как отец светов и духов, который мог бы прямо светить и дышать в вас, а как расчетливый хозяин, пославший вас, наемников, на работу в своем

винограднике, а сам живущий где-то за границей и посылающий к вам оттуда за своими доходами.

211 Князь. Как будто мы сочинили произвольно этот образ!

212 Г. Z. Нет, но вы произвольно видите в нем высшую норму отношений между человеком и Божеством, произвольно выкидывая из евангельского текста самое существо его — указание на сына и наследника, в котором живет истинная норма богочеловеческого отношения. Хозяин, обязанности к хозяину, воля хозяина. А я на это вам вот что скажу: пока ваш хозяин только налагает на вас обязанности и требует от вас исполнения своей воли, то я не вижу, как вы мне докажете, что это настоящий хозяин, а не самозванец.

213 Князь. Вот это мне нравится! Да если я по совести и разуму знаю, что требования хозяина выражают только чистейшее добро.

214 Г. Z. Виноват, я не о том говорю. Я не спорю, что хозяин требует добра от вас; но разве отсюда следует, что он сам добр?

215 Князь. А то как же!

216 Г. Z. Странно! Я всегда думал, что доброе качество кого бы то ни было доказывается не тем, чего он от других требует, а тем, что он сам делает. Если это вам не ясно логически, то вот вам наглядный исторический пример. Московский царь Иван IV в известном письме своем требовал от князя Андрея Курбского, чтобы тот проявил величайшее добро, высочайший нравственный героизм, отказавшись от противления злу и кротко подвергшись мученической смерти за правду. Эта хозяйская воля была волей добра со стороны того, что она требовала от

другого, однако она ничуть не доказывала, что хозяин, требовавший такого добра, был добрый. Ясно, что хотя мученичество за правду есть высочайшее нравственное благо, но это ничуть не говорит в пользу Ивана IV, так как он-то ведь был тут не мученик, а мучитель.

217 Князь. Так что же вы этим хотите сказать?

218 Г. Z. А то, что покуда вы мне не покажете доброго качества вашего хозяина в его собственных делах, а не в словесных только предписаниях его рабочим, то я останусь при своей уверенности, что этот наш далекий хозяин, требующий добра от других, но сам никакого добра не делающий, налагающий обязанности, но не проявляющий любви, никогда не показывавшийся вам на глаза, а живущий где-то границей incognito, — что он есть не иной кто, как бог века сего...

219 Генерал. Вот оно, инкогнито проклятое!

220 Дама. Ах, не говорите! Как страшно — с нами крестная сила! (Крестится.)

221 Князь. Можно было заранее предвидеть что-нибудь в этом роде.

222 Г. Z. Я не сомневаюсь, князь, что вы по искреннему заблуждению принимаете ловкого самозванца за настоящего Бога. Ловкость самозванца есть для вас большое смягчающее обстоятельство; я и сам не сразу разобрал, в чем тут дело; но теперь уже для меня нет никаких сомнений, и вы поймете, с каким чувством я должен смотреть на то, что я считаю обманчивой и соблазнительной личиной добра...

223 Дама. Ну что вы, ведь это обидно!

224 Князь. Уверяю вас, что я нисколько не обижен. Ведь тут был поставлен общий и довольно интересный вопрос, и мне странно, что мой собеседник, по-видимому, воображает, будто этот вопрос может быть обращен только ко мне, а не к нему также. Вы требуете от меня показать вам собственные добрые дела моего хозяина, свидетельствующие, что он есть начало добра, а не зла. Ну а сами вы какое такое укажете доброе дело вашего хозяина, которое я не мог бы приписать и своему?

225 Генерал. Да ведь уж указано одно дело, которым держится все остальное.

226 Князь. А именно?

227 Г. Z. Действительная победа над злом в действительном воскресении. Только этим, повторяю, открывается и действительное Царство Божие, а без этого есть лишь царство смерти и греха и творца их, диавола. Воскресение — только не в переносном смысле, а в настоящем — вот документ истинного Бога.

228 Князь. Да, если вам угодно верить в такую мифологию! Я ведь у вас спрашиваю фактов, которые можно доказать, а не ваших верований.

229 Г. Z. Потише, потише, князь! Мы оба исходим из одной веры, или, если хотите, мифологии, только я последовательно провожу ее до конца, а вы вопреки логике, произвольно останавливаетесь в начале пути. Силу добра и его будущее торжество на земле вы ведь признаете?

230 Князь. Признаю.

231 Г. Z. Что же это: факт или вера?

232 Князь. Разумная вера.

233 Г. Z. Посмотрим. Разум, как нас учили в семинарии, требует, между прочим, ничего не допускать без достаточного основания. Скажите же мне, пожалуйста, на каком достаточном основании, признав силу добра в нравственном исправлении и совершенствовании человека и человечества, вы признаете добро бессильным против смерти?

234 Князь. А я думаю, что вам нужно сказать, почему вы приписываете добру какую-то силу за пределами нравственной сферы?

235 Г. Z. Я-то скажу. Раз я верю в Добро и в его собственную силу и в самом понятии этой доброй силы утверждается ее существенное и безусловное превосходство, то я логически признаю такую силу неограниченною, и ничто не препятствует мне верить в истину воскресения, засвидетельствованную исторически. Впрочем, если бы вы с самого начала так прямо сказали, что вам до христианской веры нет дела, что ее предмет для вас — мифология, то я, конечно, воздержался бы от той враждебности к вашему образу мыслей, которой я не мог от вас скрыть; ведь заблуждение, или ошибка в фальшь не ставится, и враждовать с людьми из-за их теоретических заблуждений — значит давать себе аттестат слишком малого ума, слишком слабой веры и слишком дрянного сердца. А всякий действительно верующий и тем самым свободный от этих излишеств тупоумия, малодушия и бессердечности должен с искренним расположением смотреть на прямого, откровенного, словом — честного противника и отрицателя религиозных истин. Ведь это по нынешним временам такая редкость, и мне трудно вам передать, с каким особым удовольствием я гляжу на

явного врага христианства. Чуть не во всяком из них я готов видеть будущего апостола Павла, тогда как в иных ревнителях христианства поневоле мерещится Иуда-предатель. Но вы, князь, так откровенно высказались, что я решительно отказываюсь причислять вас к бесчисленным ныне Иудам и Иудушкам и уже предвижу ту минуту, когда почувствую к вам то самое доброе расположение, которое вызывают во мне многие отъявленные безбожники и нехристи.

236 Политик. Ну, так как теперь благополучно выяснилось, что ни эти безбожники и нехристи, ни такие "истинные христиане", как вот князь, не представляют собою антихриста, то пора вам наконец показать его собственный портрет.

237 Г. Z. Вот вы чего хотели! А разве вы довольны хоть одним из множества изображений Христа, которые делались ведь иногда гениальными живописцами? Я ни одного удовлетворительного изображения не знаю. Полагаю, что такого и не может быть по той причине, что Христос есть индивидуальное, единственное в своем роде и, следовательно, ни на что другое не похожее воплощение своей сущности — добра. Чтобы это изобразить — недостаточно и художественного гения. Но ведь то же должно сказать и об антихристе: это такое же индивидуальное, единственное по законченности и полноте воплощение зла. Портрета его показать нельзя. В церковной литературе мы находим только его паспорт с общими и особыми приметами...

238 Дама. Не нужно его портрета, упаси Господи! А вы лучше объясните, зачем сам-то он нужен, по-вашему, в чем сущность его дела и скоро ли он придет?

239 Г. Z. Ну, я могу вас удовлетворить лучше, чем вы думаете. Несколько лет тому назад один мой товарищ по академии, потом постриженный в монахи, умирая, завещал мне свою рукопись, которою он очень дорожил, но не хотел и не мог печатать ее. Она называется: "Краткая повесть об антихристе". Хотя под формой вымысла, или в виде заранее воображенной исторической картины, это сочинение дает, на мой взгляд, все то, что по Священному Писанию, церковному преданию и здравому разуму можно сказать наиболее вероятного об этом предмете.

240 Политик. Да это уж не нашего ли знакомца Варсонофия произведение?

241 Г. Z. Нет, этого звали еще изысканнее — Пансофий.

242 Политик. Пан Софий? Поляк?

243 Г. Z. Нисколько. Из русских поповичей. Если позволите мне на минуту подняться в мою комнату, я принесу и прочту вам эту рукопись. Она не велика.

244 Дама. Идите, идите! Только не пропадайте.

245 (Пока г. Z ходил к себе за рукописью, общество поднялось с места и прохаживалось по саду.)

246 Политик. Не знаю, что это такое: зрение ли у меня туманится от старости, или в природе что-нибудь делается? Только я замечаю, что ни в какой сезон и ни в какой местности нет уж теперь больше тех ярких, а то совсем прозрачных дней, какие бывали прежде во всех климатах. Ведь вот сегодня: ни одного облачка, от моря довольно далеко, а все как будто чем-то подернуто, тонким чем-то, неуловимым, а полной ясности все-таки нет. Вы замечаете, генерал?

247 Генерал. Я уж много лет как заметил.

248 Дама. А я вот с прошлого года стала тоже замечать, и не только в воздухе, но и в душе: и здесь нет "полной ясности", как вы говорите. Все какая-то тревога и как будто предчувствие какое-то зловещее. Я уверена, что и вы, князь, то же самое чувствуете.

249 Князь. Нет, я ничего особенного не замечал: воздух, кажется, как всегда.

250 Генерал. Да вы слишком молоды, чтоб заметить разницу, сравнивать вам не с чем. Ну а как припомнишь пятидесятые годы, так оно чувствительно.

251 Князь. Я думаю, что первое предположение верно: это явление ослабленного зрения.

252 Генерал. Что мы стареем — это несомненно; но и земля ведь тоже не молодеет: вот и чувствуется какое-то обоюдное утомление.

253 Генерал. А еще вернее, что это черт своим хвостом туман на свет Божий намахивает. Тоже знамение антихриста!

254 Дама (указывая на г. Z, спускающегося с террасы). Вот об этом сейчас что-нибудь узнаем.

255 (Все сели на прежние места, и г. Z стал читать принесенную им рукопись.)

Краткая повесть об Антихристе

[1] Панмонголизм! Хоть имя дико, Но мне ласкает слух оно, Как бы предвестием великой Судьбины Божией полно…

[2] Дама. Откуда этот эпиграф?

[3] Г. Z. Я думаю, что это автор повести сам сочинил.

[4] Дама. Ну, читайте.

[5] Г. Z (читает).

[6] Двадцатый век по Р.Х. был эпохою последних великих войн, междоусобий и переворотов. Самая большая из внешних войн имела своею отдаленною причиною возникшее еще в конце XIX века в Японии умственное движение панмонголизма. Подражательные японцы, с удивительною быстротою и успешностью перенявши вещественные формы европейской культуры, усвоили также и некоторые европейские идеи низшего порядка. Узнав из газет и из исторических учебников о существовании на Западе панэллинизма, пангерманизма, панславизма, панисламизма, они провозгласили великую идею панмонголизма, т.е. собрание воедино, под своим главенством, всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, т.е. европейцев. Воспользовавшись тем, что Европа была занята последнею решительною борьбою с мусульманским миром в начале XX века, они приступили к осуществлению великого плана — сперва занятием Кореи, а затем и Пекина, где они с помощью прогрессивной китайской партии низвергли старую маньчжурскую династию и посадили на ее место японскую. С этим скоро примирились и китайские консерваторы. Они поняли, что

из двух зол лучше выбрать меньшее и что свой своему поневоле брат. Государственная самостоятельность старого Китая все равно была не в силах держаться, и неизбежно было подчиниться или европейцам, или японцам. Но ясно было, что владычество японцев, упраздняя внешние формы китайской государственности, оказавшиеся притом очевидно никуда не годными, не касалось внутренних начал национальной жизни, тогда как преобладание европейских держав, поддерживавших ради политики христианских миссионеров, грозило глубочайшим духовным устоям Китая. Прежняя национальная ненависть китайцев к японцам выросла тогда, когда ни те, ни другие не знали европейцев, перед лицом которых эта вражда двух сродных наций становилась междоусобием, теряла смысл. Европейцы были вполне чужие, только враги, и их преобладание ничем не могло льстить племенному самолюбию, тогда как в руках Японии китайцы видели сладкую приманку панмонголизма, который вместе с тем оправдывал в их глазах и печальную неизбежность внешней европеизации. "Поймите, упрямые братья, — твердили японцы, — что мы берем у западных собак их оружие не из пристрастия к ним, а для того, чтобы бить их этим же оружием. Если вы соединитесь с нами и примете наше практическое руководство, то мы скоро не только изгоним белых дьяволов из нашей Азии, но завоюем и их собственные страны и оснуем настоящее Срединное царство надо всею вселенною. Вы правы в своей народной гордости и в своем презрении к европейцам, но вы напрасно питаете эти чувства одними мечтаниями, а не разумною деятельностью. В ней мы вас опередили и должны вам показывать пути общей пользы. А не то смотрите сами, что вам дала ваша политика самоуверенности и

недоверия к нам — вашим естественным друзьям и защитникам: Россия и Англия, Германия и Франция чуть не поделили вас между собою без остатка, и все ваши тигровые затеи показали только бессильный кончик змеиного хвоста". Рассудительные китайцы находили это основательным, и японская династия прочно утвердилась. Первою ее заботою было, разумеется, создание могучей армии и флота. Большая часть военных сил Японии была переведена в Китай, где составила кадры новой огромной армии. Японские офицеры, говорившие по-китайски, действовали как инструкторы гораздо успешнее отстраненных европейцев, а в бесчисленном населении Китая с Маньчжурией, Монголией и Тибетом нашлось достаточно пригодного боевого материала. Уже первый богдыхан из японской династии мог сделать удачную пробу оружия обновленной империи, вытеснив французов из Тонкина и Сиама, а англичан из Бирмы и включивши в Срединную империю весь Индокитай. Преемник его, по матери китаец, соединявший в себе китайскую хитрость и упругость с японскою энергией, подвижностью и предприимчивостью, мобилизирует в китайском Туркестане четырехмиллионную армию, и, в то время как Цун Лиямынь конфиденциально сообщил русскому послу, что эта армия предназначена для завоевания Индии, богдыхан вторгается в нашу Среднюю Азию и, поднявши здесь все население, быстро двигается через Урал и наводняет своими полками всю Восточную и Центральную Россию, тогда как наскоро мобилизуемые русские войска частями спешат из Польши и Литвы, Киева и Волыни, Петербурга и Финляндии. При отсутствии предварительного плана войны и при огромном численном перевесе неприятеля боевые достоинства русских войск позволяют им только гибнуть с

честью. Быстрота нашествия не оставляет времени для должной концентрации, и корпуса истребляются один за другим в ожесточенных и безнадежных боях. И монголам это достается не дешево, но они легко пополняют свою убыль, завладевши всеми азиатскими железными дорогами, в то время как двухсоттысячная русская армия, давно собранная у границ Маньчжурии, делает неудачную попытку вторжения в хорошо защищенный Китай. Оставив часть своих сил в России, чтобы мешать формированию новых войск, а также для преследования размножившихся партизанских отрядов, богдыхан тремя армиями переходит границы Германии. Здесь успели подготовиться, и одна из монгольских армий разбита наголову. Но в это время во Франции берет верх партия запоздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается миллион вражьих штыков. Попав между молотом и наковальней, германская армия принуждена принять почетные условия разоружения, предложенные богдыханом. Ликующие французы, братаясь с желтолицыми, рассыпаются по Германии и скоро теряют всякое представление о военной дисциплине. Богдыхан приказывает своим войскам перерезать ненужных более союзников, что исполняется с китайскою аккуратностью. В Париже происходит восстание рабочих sans patrie, и столица западной культуры радостно отворяет ворота владыке Востока. Удовлетворив своему любопытству, богдыхан отправляется в приморскую Булонь, где под прикрытием флота, подошедшего из Тихого океана, готовятся транспортные суда, чтобы переправить его войска в Великобританию. Но ему нужны деньги, и англичане откупаются миллиардом фунтов. Через год все европейские государства признают свою вассальную зависимость от богдыхана, и, оставив в Европе

достаточное оккупационное войско, он возвращается на Восток и предпринимает морские походы в Америку и Австралию. Полвека длится новое монгольское иго над Европой. Со стороны внутренней эта эпоха знаменуется повсюдным смешением и глубоким взаимнопроникновением европейских и восточных идей, повторением en grand древнего александрийского синкретизма; а в практических областях жизни наиболее характерными становятся три явления: широкий наплыв в Европу китайских и японских рабочих и сильное обострение вследствие этого социально-экономического вопроса; продолжающийся со стороны правящих классов ряд паллиативных опытов решения этого вопроса и усиленная международная деятельность тайных общественных организаций, образующих обширный всеевропейский заговор с целью изгнания монголов и восстановления европейской независимости. Этот колоссальный заговор, в котором принимали участие и местные национальные правительства, насколько это было возможно при контроле богдыханских наместников, мастерски подготовлен и удается блестящим образом. В назначенный срок начинается резня монгольских солдат, избиение и изгнание азиатских рабочих. По всем местам открываются тайные кадры европейских войск и по задолго составленному подробнейшему плану происходит всеобщая мобилизация. Новый богдыхан, внук великого завоевателя, поспешает из Китая в Россию, но здесь его несметные полчища наголову разбиты всеевропейскою армией. Их рассеянные остатки возвращаются в глубь Азии, и Европа становится свободною. Если полувековое подчинение азиатским варварам произошло вследствие разъединения государств, думавших только о своих отдельных национальных интересах, то великое и славное

освобождение достигнуто международною организацией соединенных сил всего европейского населения. Естественным следствием этого очевидного факта оказывается то, что старый, традиционный строй отдельных наций повсюду теряет значение и почти везде исчезают последние остатки старых монархических учреждений. Европа в XXI веке представляет союз более или менее демократических государств — европейские соединенные штаты. Успехи внешней культуры, несколько задержанные монгольским нашествием и освободительною борьбою, снова пошли ускоренным ходом. А предметы внутреннего сознания — вопросы о жизни и смерти, об окончательной судьбе мира и человека, — осложненные и запутанные множеством новых физиологических и психологических исследований и открытий, остаются по-прежнему без разрешения. Выясняется только один важный отрицательный результат: решительное падение теоретического материализма. Представление о вселенной как о системе пляшущих атомов и о жизни как результате механического накопления мельчайших изменений вещества — таким представлением не удовлетворяется более ни один мыслящий ум. Человечество навсегда переросло эту ступень философского младенчества. Но ясно становится, с другой стороны, что оно также переросло и младенческую способность наивной, безотчетной веры. Таким понятиям, как Бог, сделавший мир из ничего и т.д., перестают уже учить и в начальных школах. Выработан некоторый общий повышенный уровень представлений о таких предметах, ниже которого не может опускаться никакой догматизм. И если огромное большинство мыслящих людей остается вовсе не верующими, то немногие верующие все по

необходимости становятся и мыслящими, исполняя предписание апостола: будьте младенцами но сердцу, но не по уму.

[7] Был в это время между немногими верующими-спиритуалистами один замечательный человек — многие называли его сверхчеловеком, — который был одинаково далек как от умственного, так и от сердечного младенчества. Он был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам широко прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель. Сознавая в самом себе великую силу духа, он был всегда убежденным спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он верил, но любил он только одного себя. Он верил в Бога, но в глубине души невольно и безотчетно предпочитал Ему себя. Он верил в Добро, но всевидящее око Вечности знало, что этот человек преклонится перед злою силою, лишь только она подкупит его — не обманом чувств и низких страстей и даже не высокою приманкой власти, а чрез одно безмерное самолюбие. Впрочем, это самолюбие не было ни безотчетным инстинктом, ни безумным притязанием. Помимо исключительной гениальности, красоты и благородства высочайшие проявления воздержания, бескорыстия и деятельной благотворительности, казалось, достаточно оправдывали огромное самолюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа. И обвинять ли его за то, что, столь обильно снабженный дарами Божиими, он увидел в них особые знаки исключительного благоволения к нему свыше и счел себя вторым по Боге, единственным в своем роде сыном Божиим. Одним словом, он признал себя тем, чем в действительности был Христос. Но это сознание своего

высшего достоинства на деле определилось в нем не как его нравственная обязанность к Богу и миру, а как его право и преимущество перед другими, и прежде всего перед Христом. У него не было первоначально вражды и к Иисусу. Он признавал Его мессианское значение и достоинство, но он искренно видел в нем лишь своего величайшего предшественника, — нравственный подвиг Христа и Его абсолютная единственность были непонятны для этого омраченного самолюбием ума. Он рассуждал так: "Христос пришел раньше меня; я являюсь вторым; но ведь то, что в порядке времени является после, то по существу первее. Я прихожу последним, в конце истории именно потому, что я совершенный, окончательный спаситель. Тот Христос — мой предтеча. Его призвание было — предварить и подготовить мое явление". И в этой мысли великий человек XXI-го века будет применять к себе все, что сказано в Евангелии о втором пришествии, объясняя это пришествие не как возвращение того же Христа, а как замещение предварительного Христа окончательным, то есть им самим.

[8] На этой стадии грядущий человек представляет еще не много характерного и оригинального. Ведь подобным же образом смотрел на свое отношение к Христу, например, Мухаммед, человек правдивый, которого ни в каком злом умысле нельзя обвинить.

[9] Самолюбивое предпочтение себя Христу будет оправдываться у этого человека еще таким рассуждением: "Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, был исправителем человечества, я же призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества. Я дам всем людям все, что нужно. Христос,

как моралист, разделял людей добром и злом, я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым, и злым. Я буду настоящим представителем того Бога, который возводит солнце свое над добрыми и злыми, дождит на праведных и неправедных. Христос принес меч, я принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом. Но ведь последним судьею буду я, и суд мой будет не судом правды только, а судом милости. Будет и правда в моем суде, но не правда воздаятельная, а правда распределительная. Я всех различу и каждому дам то, что ему нужно".

10 И вот в этом прекрасном расположении ждет он какого-нибудь ясного призыва Божия к делу нового спасения человечества, какого-нибудь явного и поразительного свидетельства, что он есть старший сын, возлюбленный первенец Божий. Ждет и питает свою самость сознанием своих сверхчеловеческих добродетелей и дарований — ведь это, как сказано, человек безупречной нравственности и необычайной гениальности.

11 Ждет горделивый праведник высшей санкции, чтобы начать свое спасение человечества, — и не дождется. Ему уж минуло тридцать лет, проходят еще три года. И вот мелькает в его уме и до мозга костей горячею дрожью пронизывает его мысль: "А если?.. А вдруг не я, а тот... галилеянин... Вдруг он не предтеча мой, а настоящий, первый и последний? Но ведь тогда он должен быть жив... Где же Он?.. Вдруг Он придет ко мне... сейчас, сюда... Что я скажу Ему? Ведь я должен буду склониться перед ним, как последний глупый христианин, как русский мужик какой-нибудь, бессмысленно бормотать: "Господи Сусе Христе, помилуй мя грешнаго", или как польская баба

[12] Я, светлый гений, сверхчеловек. Нет, никогда!" И тут же на место прежнего разумного холодного уважения к Богу и Христу зарождается и растет в его сердце сначала какой-то ужас, а потом жгучая и все его существо сжимающая и стягивающая зависть и яростная, захватывающая дух ненависть. "Я, я, а не Он! Нет Его в живых, нет и не будет. Не воскрес, не воскрес, не воскрес! Сгнил, сгнил в гробнице, сгнил, как последняя..." И с пенящимся ртом, судорожными прыжками выскакивает он из дому, из саду и в глухую черную ночь бежит по скалистой тропинке... Ярость утихла и сменилась сухим и тяжелым, как эти скалы, мрачным, как эта ночь, отчаянием. Он остановился у отвесного обрыва и услышал далеко внизу смутный шум бегущего по камням потока. Нестерпимая тоска давила его сердце. Вдруг в нем что-то шевельнулось. "Позвать Его, спросить, что мне делать?" И среди темноты ему представился кроткий и грустный образ. "Он меня жалеет... Нет, никогда! Не воскрес, не воскрес!" — И он бросился с обрыва. Но что-то упругое, как водяной столб, удержало его в воздухе, он почувствовал сотрясение, как от электрического удара, и какая-то сила отбросила его назад. На миг он потерял сознание и очнулся стоящим на коленях в нескольких шагах от обрыва. Перед ним обрисовалась какая-то светящаяся фосфорическим туманным сиянием фигура, и из нее два глаза нестерпимым острым блеском пронизывали его душу...

[13] Видит он эти два пронзительные глаза и слышит не то внутри себя, не то снаружи какой-то странный голос, глухой, точно сдавленный, и вместе с тем отчетливый, металлический и совершенно бездушный, вроде как из фонографа. И этот голос говорит ему: "Сын мой возлюбленный, в тебе все мое благоволение. Зачем ты не

взыскал меня? Зачем почитал того, дурного и отца его? Я бог и отец твой. А тот нищий, распятый — мне и тебе чужой. У меня нет другого сына, кроме тебя. Ты единственный, единородный, равный со мной. Я люблю тебя и ничего от тебя не требую. Ты и так прекрасен, велик, могуч. Делай твое дело во имя твое, не мое. У меня нет зависти к тебе. Я люблю тебя. Мне ничего не нужно от тебя. Тот, кого ты считал богом, требовал от своего сына послушания, и послушания беспредельного — - до крестной смерти, и он не помог ему на кресте. Я ничего от тебя не требую, и я помогу тебе. Ради тебя самого, ради твоего собственного достоинства и превосходства и ради моей чистой, бескорыстной любви к тебе — я помогу тебе. Прими дух мой. Как прежде мой дух родил тебя в красоте, так теперь он рождает тебя в силе". И с этими словами неведомого уста сверхчеловека невольно разомкнулись, два пронзительные глаза совсем приблизились к лицу его, и он почувствовал, как острая ледяная струя вошла в него и наполнила все существо его. И с тем вместе он почувствовал небывалую силу, бодрость, легкость и восторг. В тот же миг светящийся облик и два глаза вдруг исчезли, что-то подняло сверхчеловека над землею и разом опустило в его саду, у дверей дома.

[14] На другой день не только посетители великого человека, но даже его слуги были изумлены его особенным, каким-то вдохновенным видом. Но они были бы еще более поражены, если бы могли видеть, с какою сверхъестественною быстротою и легкостью писал он, запершись в своем кабинете, свое знаменитое сочинение под заглавием: "Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию".

[15] Прежние книги и общественные действия сверхчеловека встречали строгих критиков, хотя это были большею частию люди особенно религиозные и потому лишенные всякого авторитета, — ведь я о времени пришествия антихриста говорю, — так что не многие их слушали, когда они указывали во всем, что писал и говорил "грядущий человек", признаки совершенно исключительного, напряженного самолюбия и самомнения при отсутствии истинной простоты, прямоты и сердечности.

[16] Но своим новым сочинением он привлечет к себе даже некоторых из своих прежних критиков и противников. Эта книга, написанная после приключения на обрыве, покажет в нем небывалую прежде силу гения. Это будет что-то всеобъемлющее и примиряющее все противоречия. Здесь соединятся благородная почтительность к древним преданиям и символам с широким и смелым радикализмом общественно-политических требований и указаний, неограниченная свобода мысли с глубочайшим пониманием всего мистического, безусловный индивидуализм с горячею преданностью общему благу, самый возвышенный идеализм руководящих начал с полною определенностью и жизненностью практических решений. И все это будет соединено и связано с таким гениальным художеством, что всякому одностороннему мыслителю или деятелю легко будет видеть и принять целое лишь под своим частным наличным углом зрения, ничем не жертвуя для самой истины, не возвышаясь для нее действительно над своим я, нисколько не отказываясь на деле от своей односторонности, ни в чем не исправляя ошибочности своих взглядов и стремлений, ничем не восполняя их недостаточность. Эта удивительная книга сейчас будет переведена на языки всех образованных и

некоторых необразованных наций. Тысячи газет во всех частях света будут целый год наполняться издательскими рекламами и восторгами критиков. Дешевые издания с портретами автора будут расходиться в миллионах экземпляров, и весь культурный мир, — а в то время это будет почти значить то же, что весь земной шар, — наполнится славою несравненного, великого, единственного! Никто не будет возражать на эту книгу, она покажется каждому откровением всецелой правды. Всему прошедшему будет воздана в ней такая полная справедливость, все текущее оценено так беспристрастно и всесторонне, и лучшее будущее так наглядно и осязательно придвинуто к настоящему, что всякий скажет: "Вот оно, то самое, что нам нужно; вот идеал, который не есть утопия, вот замысел, который не есть химера". И чудный писатель не только увлечет всех, но он будет всякому приятен, так что исполнится слово Христово:

17 "Я пришел во имя Отца, и не принимаете меня, а придет другой во имя свое, — того примете". Ведь для того чтобы быть принятым, надо быть приятным.

18 Правда, некоторые благочестивые люди, горячо восхваляя эту книгу, станут задавать только вопрос, почему в ней ни разу не упомянуто о Христе, но другие христиане возразят: "И слава Богу! — довольно уже в прошлые века все священное было затаскано всякими непризванными ревнителями, и теперь глубоко религиозный писатель должен быть очень осторожен. И раз содержание книги проникнуто истинно христианским духом деятельной любви и всеобъемлющего благоволения, то что же вам еще?" И с этим все согласятся. — Вскоре после появления "Открытого пути",

который сделал своего автора самым популярным изо всех людей, когда-либо появлявшихся на свете, должно было происходить в Берлине международное учредительное собрание союза европейских государств. Союз этот, установленный после ряда внешних и внутренних войн, связанных с освобождением от монгольского ига и значительно изменивших карту Европы, подвергался опасности от столкновений — теперь уже не между нациями, а между политическими и социальными партиями. Заправилы общей европейской политики, принадлежавшие к могущественному братству франкмасонов, чувствовали недостаток общей исполнительной власти. Достигнутое с таким трудом европейское единство каждую минуту готово было опять распасться. В союзном совете или всемирной управе (Comite permanent universel) не было единодушия, так как не все места удалось занять настоящими, посвященными в дело масонами. Независимые члены управы вступали между собою в сепаратные соглашения, и дело грозило новою войною. Тогда "посвященные" решили учредить единоличную исполнительную власть с достаточными полномочиями. Главным кандидатом был негласный член ордена — "грядущий человек". Он был единственным лицом с великою всемирною знаменитостью. Будучи по профессии ученым-артиллеристом, а по состоянию крупным капиталистом, он повсюду имел дружеские связи с финансовыми и военными кругами. Против него в другое, менее просвещенное время говорило бы то обстоятельство, что происхождение его было покрыто глубоким мраком неизвестности. Мать его, особа снисходительного поведения, была отлично известна обоим земным полушариям, но слишком много разных лиц имели одинаковый повод считаться его отцами. Эти

обстоятельства, конечно, не могли иметь никакого значения для века столь передового, что ему даже пришлось быть последним. Грядущий человек был выбран почти единогласно в пожизненные президенты Европейских Соединенных Штатов, когда же он явился на трибуне во всем блеске своей сверхчеловеческой юной красоты и силы и с вдохновенным красноречием изложил свою универсальную программу, увлеченное и очарованное собрание в порыве энтузиазма без голосования решило воздать ему высшую почесть избранием в римские императоры. Конгресс закрылся среди всеобщего ликования, и великий избранник издал манифест, начинавшийся так: "Народы Земли! Мир мой даю вам!" — и кончавшийся такими словами: "Народы Земли! Свершились обетования! Вечный вселенский мир обеспечен. Всякая попытка его нарушить сейчас же встретит неодолимое противодействие. Ибо отныне есть на земле одна срединная власть, которая сильнее всех прочих властей и порознь, и вместе взятых. Эта ничем не одолимая, все превозмогающая власть принадлежит мне, полномочному избраннику Европы, императору всех ее сил. Международное право имеет наконец недоставшую ему доселе санкцию. И отныне никакая держава не осмелится сказать: "Война", когда я говорю: "Мир". Народы Земли — мир вам!" Этот манифест произвел желанное действие. Повсюду вне Европы, особенно в Америке, образовались сильные империалистические партии, которые заставили свои государства на разных условиях присоединиться к Европейским Соединенным Штатам под верховною властью римского императора. Оставались еще независимыми племена и державцы кое-где в Азии и Африке. Император с небольшою, но отборною армией из русских, немецких, польских,

венгерских и турецких полков совершает военную прогулку от Восточной Азии до Марокко и без большого кровопролития подчиняет всех непокорных. Во всех странах двух частей света он ставит своих наместников из европейски образованных и преданных ему туземных вельмож. Во всех языческих странах пораженное и очарованное население провозглашает его верховным богом. В один год основывается всемирная монархия в собственном и точном смысле. Ростки войны вырваны с корнем. Всеобщая лига мира сошлась в последний раз и, провозгласив восторженный панегирик великому миротворцу, закрыла себя за ненадобностью. В новый год своего властвования римский и всемирный император издает новый манифест: "Народы Земли! Я обещал вам мир, и я дал вам его. Но мир красен только благоденствием. Кому при мире грозят бедствия нищеты, тому и мир не радость. Придите же ко мне теперь все голодные и холодные, чтобы я насытил и согрел вас". И затем он объявляет простую и всеобъемлющую социальную реформу, уже намеченную в его сочинении и там уже пленявшую все благородные и трезвые умы. Теперь благодаря сосредоточению в его руках всемирных финансов и колоссальных поземельных имуществ он мог осуществить эту реформу по желанию бедных и без ощутительной обиды для богатых. Всякий стал получать по своим способностям, и всякая способность — по своим трудам и заслугам.

[19] Новый владыка земли был прежде всего сердобольным филантропом — и не только филантропом, но и филозоем. Сам он был вегетарианцем, он запретил вивисекцию и учредил строгий надзор за бойнями; общества покровительства животных всячески поощрялись им. Важнее этих подробностей было прочное установление во

всем человечестве самого основного равенства — равенства всеобщей сытости. Это совершилось во второй год его царствования. Социально-экономический вопрос был окончательно решен. Но если сытость есть первый интерес для голодных, то сытым хочется чего-нибудь другого.

[20] Даже сытые животные хотят обыкновенно не только спать, но и играть. Тем более человечество, которое всегда post panem требовало circenses.

[21] Император-сверхчеловек поймет, что нужно его толпе. В это время с Дальнего Востока прибудет к нему в Рим великий чудодей, окутанный в густое облако странных былей и диких сказок. По слухам, распространенным среди необуддистов, он будет происхождения божественного — от солнечного бога Сурьи и какой-то речной нимфы.

[22] Этот чудодей, по имени Аполлоний, человек несомненно гениальный полуазиат и полуевропеец, католический епископ in partibus infidelium, удивительным образом соединит в себе обладание последними выводами и техническими приложениями западной науки с знанием и умением пользоваться всем тем, что есть действительно солидного и значительного в традиционной мистике Востока. Результаты такого сочетания будут поразительны. Аполлоний дойдет, между прочим, до полунаучного, полумагического искусства притягивать и направлять по своей воле атмосферическое электричество, и в народе будут говорить, что он сводит огонь с небес. Впрочем, поражая воображение толпы разными неслыханными диковинками, он не будет до времени злоупотреблять своим могуществом для каких-нибудь особенных целей. Так вот, этот человек

придет к великому императору, поклонится ему как истинному сыну Божию, объявит, что в тайных книгах Востока он нашел прямые предсказания о нем, императоре, как о последнем спасителе и судии вселенной и предложит ему на службу себя и все свое искусство. Очарованный им император примет его как дар свыше и, украсив его пышными титулами, не будет уже более с ним разлучаться. И вот народы Земли, облагодетельствованные своим владыкой, кроме всеобщего мира, кроме всеобщей сытости получат еще возможность постоянного наслаждения самыми разнообразными и неожиданными чудесами и знамениями. Кончался третий год царствования сверхчеловека.

[23] После благополучного решения политического и социального вопроса поднялся вопрос религиозный. Его возбудил сам император, и прежде всего по отношению к христианству. В это время христианство находилось в таком положении. При очень значительном численном уменьшении своего состава — на всем земном шаре оставалось не более сорока пяти миллионов христиан — оно нравственно подобралось и подтянулось и выигрывало в качестве, что теряло в количестве. Людей, не соединенных с христианством никаким духовным интересом, более уже не числилось между христианами. Различные вероисповедания довольно равномерно уменьшились в своем составе, так что между ними сохранялось приблизительно прежнее числовое отношение; что же касается до взаимных чувств, то хотя вражда не заменилась полным примирением, но значительно смягчилась, и противоположения потеряли свою прежнюю остроту. Папство уже давно было изгнано из Рима и после многих скитаний нашло приют в

Петербурге под условием воздерживаться от пропаганды здесь и внутри страны. В России оно значительно опростилось. Не изменяя существенно необходимого состава своих коллегий и официй, оно должно было одухотворить характер их деятельности, а также сократить до минимальных размеров свой пышный ритуал и церемониал. Многие странные и соблазнительные обычаи, хотя формально не отмененные, сами собою вышли из употребления. Во всех прочих странах, особенно в Северной Америке, католическая иерархия еще имела много представителей с твердою волей, неутомимою энергией и независимым положением, еще сильнее прежнего стянувших единство католической церкви и сохранявших за нею ее международное, космополитическое значение. Что касается до протестантства, во главе которого продолжала стоять Германия, особенно после воссоединения значительной части англиканской церкви с католическою, то оно очистилось от своих крайних отрицательных тенденций, сторонники которых открыто перешли к религиозному индифферентизму и неверию. В евангелической церкви остались лишь искренно верующие, во главе которых стояли люди, соединявшие обширную ученость с глубокою религиозностью и с все более усиливавшимся стремлением возродить в себе живой образ древнего подлинного христианства. Русское православие, после того как политические события изменили официальное положение церкви, хотя потеряло многие миллионы своих мнимых, номинальных членов, зато испытало радость соединения с лучшею частью староверов и даже многих сектантов положительно-религиозного направления. Эта обновленная церковь, не возрастая числом, стала расти в силе духа, которую она особенно показала в своей

внутренней борьбе с размножившимися в народе и обществе крайними сектами, не чуждыми демонического и сатанического элемента. В первые два года нового царствования все христиане, напуганные и утомленные рядом предшествовавших революций и войн, относились к новому повелителю и его мирным реформам частию с благосклонным выжиданием, частию с решительным сочувствием и даже горячим восторгом. Но на третий год, с появлением великого мага, у многих православных, католиков и евангеликов стали возникать серьезные опасения и антипатии. Евангельские и апостольские тексты, говорившие о князе века сего и об антихристе, стали читаться внимательнее и оживленно комментироваться. По некоторым признакам император догадался о собирающейся грозе и решил скорее выяснить дело. В начале четвертого года царствования он издает манифест ко всем своим верным христианам без различия исповедания, приглашая их избрать или назначить полномочных представителей на вселенский собор под его председательством. Резиденция в это время была перенесена из Рима в Иерусалим. Палестина тогда была автономною областью, населенною и управляемою преимущественно евреями. Иерусалим был вольным, а тут сделался имперским городом. Христианские святыни оставались неприкосновенными, но на всей обширной платформе Харам-эш-Шерифа, от Биркет-Исраин и теперешней казармы, с одной стороны, и до мечети Эль-Акса и "соломоновых конюшен" — с другой, было воздвигнуто одно огромное здание, вмещавшее в себе кроме двух старых небольших мечетей обширный "имперский" храм для единения всех культов и два роскошные императорские дворца с библиотеками, музеями и особыми помещениями для магических опытов

и упражнений. В этом полухраме-полудворце 14-го сентября должен был открыться вселенский собор. Так как евангелическое исповедание не имеет в собственном смысле священства, то католические и православные иерархи, согласно желанию императора, чтобы придать некоторую однородность представительству всех частей христианства, решили допустить к участию на соборе некоторое число своих мирян, известных благочестием и преданностью церковным интересам: а раз были допущены миряне, то нельзя было исключить низшего духовенства, черного и белого. Таким образом, общее число членов собора превышало три тысячи, а около полумиллиона христианских паломников наводнили Иерусалим и всю Палестину. Между членами собора особенно выдавались трое. Во-первых, папа Петр II, по праву стоявший во главе католической части собора. Его предшественник умер по пути на собор, и в Дамаске составился конклав, единогласно избравший кардинала Симоне Барионини, принявшего имя Петра. Происхождения он был простонародного, из Неаполитанской области, и стал известен как проповедник кармелитского ордена, оказавший большие заслуги в борьбе с одною усилившеюся в Петербурге и его окрестностях сатаническою сектой, совращавшею не только православных, но и католиков. Сделанный архиепископом могилевским, а потом и кардиналом, он заранее был намечен для тиары. Это был человек лет пятидесяти, среднего роста и плотного сложения, с красным лицом, горбатым носом и густыми бровями. Он был человек горячий и стремительный, говорил с жаром и с размашистыми жестами и более увлекал, чем убеждал слушателей. К всемирному повелителю новый папа выказывал недоверие и нерасположение, особенно после

того, как покойный папа, отправляясь на собор, уступил настояниям императора и назначил кардиналом имперского канцлера и великого всемирного мага, экзотического епископа Аполлония, которого Петр считал сомнительным католиком и несомненным обманщиком. Действительным, хотя неофициальным вождем православных был старец Иоанн, весьма известный среди русского народа. Хотя он официально числился епископом "на покое", но не жил ни в каком монастыре, а постоянно странствовал во всех направлениях. Про него ходили разные легенды. Некоторые уверяли, что это воскрес Федор Кузьмич, то есть император Александр Первый, родившийся около трех веков до того. Другие шли дальше и утверждали, что это настоящий старец Иоанн, т.е. апостол Иоанн Богослов, никогда не умиравший и открыто явившийся в последние времена. Сам он ничего не говорил о своем происхождении и о своей молодости. Теперь это был очень древний, но бодрый старик, с желтеющею и даже зеленеющею белизною кудрей и бороды, высокого роста, худой в теле, но с полными и слегка розоватыми щеками, живыми блестящими глазами и умилительно добрым выражением лица и речи, одет он был всегда в белую рясу и мантию. Во главе евангелических членов собора стал ученейший немецкий теолог профессор Эрнст Паули. Это был невысокого роста сухой старичок, с огромным лбом, острым носом и гладко выбритым подбородком. Глаза его отличались каким-то особым свирепо-добродушным взглядом. Он ежеминутно потирал руки, качал головой, страшно сдвигал брови и оттопыривал губы; при этом, сверкая глазами, он угрюмо произносил отрывистые звуки: "So! nun! ja! so also!" Он был одет торжественно — в

белом галстухе и длинном пасторском сюртуке с какими-то орденскими знаками.

[24] Открытие собора было внушительно. Две трети огромного храма, посвященного "единству всех культов", были уставлены скамьями и другими сиденьями для членов собора, одна треть была занята высокою эстрадой, где, кроме императорского трона и другого — пониже, для великого мага — он же кардинал-имперский канцлер, были ряды кресел сзади для министров, придворных и статс-секретарей, а сбоку более длинные ряды кресел, назначение которых было неизвестно. На хорах были оркестры музыки, а на соседней площади выстроились два гвардейские полка и батареи для торжественных залпов. Члены собора уже отслужили свои богослужения в разных церквах, и открытие собора должно было быть вполне светским. Когда вошел император с великим магистром и свитою и оркестр заиграл "марш единого человечества", служивший имперским международным гимном, все члены собора встали и, махая шляпами, трижды громко прокричали: "Vivat! Ура! Hoch!" Император, ставши около трона и с величественною благосклонностью протянувши руку, произнес звучным и приятным голосом: "Христиане всех толков! Возлюбленные мои подданные и братья! От начала моего царствования, которое Вышний благословил такими чудными и славными делами, я ни разу не имел повода быть вами недовольным; вы всегда исполняли свой долг по вере и совести. Но мне этого мало. Моя искренняя любовь к вам, братья возлюбленные, жаждет взаимности. Я хочу, чтобы не по чувству долга, а по чувству сердечной любви вы признали меня вашим истинным вождем во всяком деле, предпринимаемом для блага человечества. И вот, кроме того, что я делаю для всех, я хотел бы

оказать вам особые милости. Христиане, чем мог бы я вас осчастливить? Что дать вам не как моим подданным, а как единоверцам, братьям моим? Христиане! Скажите мне, что для вас всего дороже в христианстве, чтоб я мог в эту сторону направить свои усилия?" Он остановился и ждал. По храму носился глухой гул. Члены собора перешептывались между собою. Папа Петр, горячо жестикулируя, толковал что-то своим окружающим. Профессор Паули качал головой и ожесточенно чмокал губами. Старец Иоанн, наклонившись над восточным епископом и капуцином, что-то тихо внушал им. Прождавши несколько минут, император обратился к собору тем же ласковым тоном, но в котором звучала едва уловимая нотка иронии. "Любезные христиане, — сказал он. — Я понимаю, как труден для вас один прямой ответ. Я хочу помочь вам и в этом. Вы, к несчастию, с таких незапамятных времен распались на разные толки и партии, что, может быть, у вас и нет одного общего предмета влечения. Но если вы не можете согласиться между собою, то я надеюсь согласить все ваши партии тем, что окажу им всем одинаковую любовь и одинаковую готовность удовлетворить истинному стремлению каждой. — Любезные христиане! я знаю, что для многих и не последних из вас всего дороже в христианстве тот духовный авторитет, который оно дает своим законным представителям, — не для их собственной выгоды, конечно, а для общего блага, так как на этом авторитете зиждется правильный духовный порядок и нравственная дисциплина, необходимая для всех. Любезные братья-католики! о, как я понимаю ваш взгляд и как бы я хотел опереть свою державу на авторитет вашего духовного главы! Чтобы вы не думали, что это лесть и пустые слова, торжественно объявляем: согласно нашей

самодержавной воле, верховный епископ всех католиков, папа римский, восстановляется отныне на престоле своем в Риме со всеми прежними правами и преимуществами этого звания и кафедры, когда-либо данными от наших предшественников, начиная с императора Константина Великого. — А от вас, братья-католики, я хочу за это лишь внутреннего сердечного признания меня вашим единственным заступником и покровителем. Кто здесь по совести и чувству признает меня таким, пусть идет сюда ко мне". И он указал пустые места на эстраде. И с радостными восклицаниями: "Gratias agimus! Domine! Salvum fac magnum imperatorem" — почти все князья католической церкви, кардиналы и епископы, большая часть верующих мирян и более половины монахов взошли на эстраду и, после низких поклонов по направлению к императору, заняли свои кресла. Но внизу, посредине собора, прямой и неподвижный, как мраморная статуя, сидел на своем месте папа Петр II. Все, что его окружало, было на эстраде. Но оставшаяся внизу поредевшая толпа монахов и мирян сдвинулась к нему и сомкнулась тесным кольцом, и оттуда слышался сдержанный шепот: "Non praevalebunt, поп praevalebunt portae inferni".

[25] Взглянув с удивлением на неподвижного папу, император снова возвысил голос: "Любезные братья! Знаю я, что между вами есть и такие, для которых всего дороже в христианстве его священное предание, старые символы, старые песни и молитвы, иконы и чин богослужения. И в самом деле, что может быть дороже этого для религиозной души? Знайте же, возлюбленные, что сегодня подписан мною устав и назначены богатые средства Всемирному музею христианской археологии в славном нашем имперском городе Константинополе с целью собирания, изучения и хранения всяких

памятников церковной древности, преимущественно восточной, а вас я прошу завтра же избрать из среды своей комиссию для обсуждения со мною тех мер, которые должны быть приняты с целью возможного приближения современного быта, нравов и обычаев к преданию и установлениям святой православной церкви! Братья православные! Кому по сердцу эта моя воля, кто по сердечному чувству может назвать меня своим истинным вождем и владыкою, пусть взойдет сюда". — И большая часть иерархов Востока и Севера, половина бывших староверов и более половины православных священников, монахов и мирян с радостными кликами взошли на эстраду, косясь на горделиво восседавших там католиков. — Но старец Иоанн не двигался и громко вздыхал. И когда толпа вокруг него сильно поредела, он оставил свою скамью и пересел ближе к папе Петру и его кружку. За ним последовали и прочие православные, не пошедшие на эстраду. — Опять заговорил император: "Известны мне, любезные христиане, и такие между вами, что всего более дорожат в христианстве личною уверенностью в истине и свободным исследованием Писания. Как я смотрю на это — нет надобности распространяться. Вы знаете, может быть, что еще в ранней юности я написал большое сочинение по библейской критике, произведшее в то время некоторый шум и положившее начало моей известности. И вот, вероятно, в память этого здесь на этих днях присылает мне просьбу Тюбингенский университет принять от него почетный диплом доктора теологии. Я велел отвечать, что с удовольствием и благодарностью принимаю. А сегодня вместе с тем Музеем христианской археологии подписал я учреждение Всемирного института для свободного исследования Священного писания со всевозможных

сторон и во всевозможных направлениях и для изучения всех вспомогательных наук, с 1 1/2 миллиона марок годового бюджета. Кому из вас по сердцу такое мое душевное расположение и кто может по чистому чувству признать меня своим державным вождем, прошу сюда к новому доктору теологии". — И прекрасные уста великого человека слегка передернуло какой-то странной усмешкой. Больше половины ученых теологов двинулось к эстраде, хотя с некоторым замедлением и колебанием. Все озирались на профессора Паули, который будто прирос к своему сиденью. Он низко опустил голову, согнулся и съежился. Взошедшие на эстраду ученые теологи конфузились, а один вдруг махнул рукой и, соскочив прямо вниз мимо лестницы, прихрамывая, побежал к профессору Паули и оставшемуся при нем меньшинству. Тот поднял голову и, вставши с каким-то неопределенным движением, пошел мимо опустевших скамей, сопровождаемый устоявшими единоверцами, и подсел ближе к старцу Иоанну и папе Петру с их кружками.

[26] Значительное большинство собора, и в том числе почти вся иерархия Востока и Запада, находилась на эстраде. Внизу оставались только три сблизившиеся между собою кучи людей, жавшихся около старца Иоанна, папы Петра и профессора Паули.

[27] Грустным тоном обратился к ним император: "Что еще могу я сделать для вас? Странные люди! Чего вы от меня хотите? Я не знаю. Скажите же мне сами, вы, христиане, покинутые большинством своих братьев и вождей, осужденные народным чувством: что всего дороже для вас в христианстве?" Тут, как белая свеча, поднялся старец Иоанн и кротко отвечал: "Великий государь! Всего

дороже для нас в христианстве сам Христос — Он Сам, а от него все, ибо мы знаем, что в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Но и от тебя, государь, мы готовы принять всякое благо, если только в щедрой руке твоей опознаем святую руку Христову. И на вопрос твой: что можешь сделать для нас, — вот наш прямой ответ: исповедуй здесь теперь перед нами Иисуса Христа, Сына Божия, во плоти пришедшего, воскресшего и паки грядущего, — исповедуй Его, и мы с любовью примем тебя как истинного предтечу Его второго славного пришествия". Он замолчал и уставился взором в лицо императора. С тем делалось что-то недоброе. Внутри его поднялась такая же адская буря, как та, что он испытал в ту роковую ночь. Он совершенно потерял внутреннее равновесие, и все его мысли сосредоточились на том, чтобы не лишиться и наружного самообладания и не выдать себя прежде времени. Он делал нечеловеческие усилия, чтобы не броситься с диким воплем на говорившего и не начать грызть его зубами. Вдруг он услышал знакомый нездешний голос: "Молчи и ничего не бойся". Он молчал. Только помертвевшее и потемневшее лицо его все перекосилось, и из глаз вылетали искры. Между тем во время речи старца Иоанна великий маг, который сидел весь закутанный в свою необъятную трехцветную мантию, скрывавшую кардинальский пурпур, как будто производил под нею какие-то манипуляции, глаза его сосредоточенно сверкали, и губы шевелились. В открытые окна храма было видно, что нашла огромная черная туча, и скоро все потемнело. Старец Иоанн не сводил изумленных и испуганных глаз с лица безмолвного императора, и вдруг он в ужасе отпрянул и, обернувшись назад, сдавленным голосом крикнул: "Детушки, антихрист!" В это время вместе с

оглушительным ударом грома в храме вспыхнула огромная круглая молния и покрыла собою старца. Все замерло на мгновение, и, когда оглушенные христиане пришли в себя, старец Иоанн лежал мертвый.

[28] Император, бледный, но спокойный, обратился к собранию: "Вы видели суд Божий. Я не хотел ничьей смерти, но мой Отец небесный мстит за своего возлюбленного сына. Дело решено. Кто будет спорить с Всевышним? Секретари! запишите: вселенский собор всех христиан, после того как огонь с небес поразил безумного противника божественного величества, единогласно признал , державного императора Рима и всей вселенной своим верховным вождем и владыкой". Вдруг одно громкое и отчетливое слово пронеслось по храму: "Contradicitur". Папа Петр II встал с побагровевшим лицом, весь трясясь от гнева, поднял свой посох по направлению к императору: "Наш единый Владыка — Иисус Христос, Сын Бога живого. А ты кто — ты слышал. Вон от нас, Каин-братоубийца! Вон, сосуд дьявольский! Властию Христовой я, служитель Божиих, навек извергаю тебя, гнусного пса, из ограды Божией и предаю отцу твоему, Сатане! Анафема, анафема, анафема!" Пока он говорил, великий маг беспокойно двигался под своею мантией, и громче последней анафемы загремел гром, и последний папа пал бездыханным. "Так от руки отца моего погибнут все враги мои", — сказал император. "Pereant, pereant!" — закричали дрожащие князья церкви.

[29] Он повернулся и медленно вышел, опираясь на плечо великого мага и сопровождаемый всею своею толпою, в двери за эстрадою. В храме остались два мертвеца и тесный круг полуживых от страха христиан. Единственный, кто не растерялся, был профессор Паули.

Общий ужас как будто возбудил в нем все силы духа. Он и наружно переменился — принял величавый и вдохновенный вид. Решительными шагами взошел он на эстраду и, сев на одно из опустевших статс-секретарских мест, взял лист бумаги и стал на нем что-то писать. Кончивши, он встал и громогласно прочел: "Во славу единого Спасителя нашего Иисуса Христа. Вселенский собор Божиих церквей, собравшийся в Иерусалиме, после того как блаженнейший брат наш Иоанн, предстоятель восточного христианства, обличил великого обманщика и врага Божия в том, что он есть подлинный антихрист, предсказанный в слове Божием, а блаженнейший отец наш Петр, предстоятель западного христианства, законно и правильно предал его бессрочному отлучению от церкви Божией, ныне перед телами сих двух, убиенных за правду, свидетелей Христовых, постановляет: прекратить всякое общение с отлученным и с мерзким сборищем его и, удалившись в пустыню, ожидать неминуемого пришествия истинного Владыки нашего Иисуса Христа". Одушевление овладело толпой, и раздались громкие голоса: "Adventiat! Adventiat cito! Komm Herr Jesi, komm! Гряди, Господи Иисусе!"

[30] Профессор Паули приписал и прочел: "Приняв единогласно сей первый и последний акт последнего вселенского собора, подписываем свои имена", и он сделал пригласительный знак собранию. Все поспешно всходили на возвышение и подписывались. В конце крупным готическим шрифтом подписался — "Duorum defunctorum testium locum tenes Ernst Pauli". "Теперь идем с нашим кивотом последнего завета!" — сказал он, указывая на двух покойников. Тела были подняты на носилках. Медленно, с пением латинских, немецких и церковнославянских гимнов, направились христиане к

выходу из Харам-эш-Шерифа. Здесь шествие было остановлено посланным от императора статс-секретарем в сопровождении офицера со взводом гвардии. Солдаты остановились у входа, а статс-секретарь с возвышения прочел: "Повеление божественного величества: для вразумления христианского народа и ограждения его от злонамеренных людей, производящих смуты и соблазны, признали мы за благо трупы двух возмутителей, убитых небесным огнем, выставить публично на улице Христиан (Харет-эн-Насара), у входа в главный храм этой религии, именуемый Гроба Господня, а также Воскресения, чтобы все могли убедиться в их действительной смерти. Упорствующие же их единомышленники, злобно отвергающие все наши благодеяния и безумно закрывающие глаза на явные знамения самого божества, освобождаются нашим милосердием и предстательством нашим перед отцом небесным от заслуженной ими смерти через огонь с небес и оставляются на полной своей воле с единственным запрещением, ради общего блага, обитать в городах и других населенных местах, дабы не смущали и не соблазняли они невинных и простодушных людей своими злобными вымыслами". Когда он кончил, 8 солдат, по знаку офицера, подошли к носилкам с телами. "Да свершится написанное", — сказал профессор Паули, и христиане, державшие носилки, безмолвно передали их солдатам, которые удалились через северо-западные ворота, а христиане, выйдя через северо-восточные, поспешно направились из города мимо Масличной горы в Иерихон по дороге, которую предварительно жандармы и два кавалерийские полка очистили от народной толпы. На пустынных холмах у Иерихона решено было ждать несколько дней. На следующее утро из Иерусалима прибыли знакомые христианские паломники и

рассказали, что происходило в Сионе. После придворного обеда все члены собора были приглашены в огромную тронную палату (около предполагаемого места Соломонова престола), и император, обращаясь к представителям католической иерархии, заявил им, что благо церкви, очевидно, требует от них немедленного избрания достойного преемника апостола Петра, что но обстоятельствам времени избрание должно быть суммарно, что присутствие его, императора, как вождя и представителя всего христианского мира с избытком восполнит ритуальные пропуски и что он от имени всех христиан предлагает Священной Коллегии избрать его возлюбленного друга и брата Аполлония, дабы их тесная связь сделала прочным и неразрывным единение церкви и государства для общего их блага. Священная Коллегия удалилась в особую комнату для конклава и через полтора часа возвратилась с новым папой Аполлонием. А между тем как происходили выборы, император кротко, мудро и красноречиво убеждал православных и евангелических представителей, ввиду новой великой эры христианской истории, покончить старые распри, ручаясь своим словом, что Аполлоний сумеет навсегда упразднить все исторические злоупотребления папской власти. Убежденные этою речью, представители православия и протестантства составили акт соединения церквей, и, когда Аполлоний с кардиналами показался в палате при радостных кликах всего собрания греческий архиерей и евангелический пастор поднесли ему свою бумагу. "Accipio et approbo et laetificatur cor meum", — сказал Аполлоний, подписывая документ. "Я такой же истинный православный и истинный евангелист, каков я истинный католик", — прибавил он и дружелюбно облобызался с греком и немцем. Затем он подошел к императору,

который его обнял и долго держал в своих объятиях. В это время какие-то светящиеся точки стали носиться во дворце и во храме по всем направлениям, они росли и превращались в светлые формы странных существ, невиданные на земле цветы посыпались сверху, наполняя воздух неведомым ароматом. Сверху раздались восхитительные, прямо в душу идущие и хватающие за сердце звуки неслыханных дотоле музыкальных инструментов, и ангельские голоса незримых певцов славили новых владык неба и земли. Между тем раздался страшный подземный гул в северозападном углу Срединного дворца под куббет-эль-аруах, т.е. куполом душ, где, по мусульманским преданиям, вход в преисподнюю. Когда собрание по приглашению императора двинулось в ту сторону, все ясно услышали бесчисленные голоса, тонкие и пронзительные, — не то детские, не то дьявольские, — восклицавшие: "Пришла пора, пустите нас, спасители, спасители!" Но когда Аполлоний, припавши к скале, трижды прокричал что-то вниз на неизвестном языке, голоса умолкли, и подземный гул прекратился. Между тем необъятная толпа народа со всех сторон окружила Харам-эш-Шериф. При наступлении ночи император, вместе с новым папой, вышел на восточное крыльцо, подняв "бурю восторгов". Он приветливо кланялся во все стороны, тогда как Аполлоний, из подносимых ему кардиналами-дьяконами больших корзин, непрерывно брал и бросал по воздуху загоравшиеся от прикосновения его руки великолепные римские свечи, ракеты и огненные фонтаны, то фосфорически-жемчужные, то ярко-радужные, и все это, достигая земли, превращалось в бесчисленные разноцветные листы с полными и безусловными индульгенциями на все грехи прошедшие, настоящие и

будущие. Народное ликование перешло всякие пределы. Правда, некоторые утверждали, что видели своими глазами, как индульгенции превращались в преотвратительных жаб и змей. Тем не менее огромное большинство было в восторге, и народные празднества продолжались еще несколько дней, причем новый папа-чудотворец дошел до вещей столь диковинных и невероятных, что передавать их было бы совершенно бесполезно. Тем временем у пустынных высот Иерихона христиане предавались посту и молитве. Вечером четвертого дня, когда стемнело, профессор Паули с девятью товарищами на ослах и с телегой пробрались в Иерусалим и, боковыми улицами мимо Харам-эш-Шерифа, выехали на Харет-эн-Насара и подошли к входу в храм Воскресения, где на мостовой лежали тела папы Петра и старца Иоанна. На улице в этот час было безлюдно, весь город ушел к Харам-эш-Шерифу. Караульные солдаты спали глубоким сном. Пришедшие за телами нашли, что они совсем не тронуты тлением и даже не закоченели и не отяжелели. Подняв их на носилки и закрыв принесенными плащами, они теми же обходными дорогами вернулись к своим, но, лишь только они опустили носилки на землю, дух жизни вошел в умерших. Они зашевелились, стараясь сбросить с себя окутывавшие их плащи. Все с радостными криками стали им помогать, и скоро оба ожившие встали на ноги целыми и невредимыми. И заговорил оживший старец Иоанн: "Ну вот, детушки, мы и не расстались. И вот что я скажу вам теперь: пора исполнить последнюю молитву Христову об учениках Его, чтобы они были едино, как Он сам с Отцом — едино. Так для этого единства Христова почтим, детушки, возлюбленного брата нашего Петра. Пускай напоследях пасет овец Христовых. Так-то, брат!" И он

обнял Петра. Тут подошел профессор Паули: "Tu est Petrus!" — обратился он к папе. "Jetzt ist es ja grundlich er wiesen und ausser jedem Zweifel gesetzt". — И он крепко сжал его руку своею правою, а левую подал старцу Иоанну со словами: "So also, Vaterchen — nun sind wir ja Eins in Shristo". Так совершилось соединение церквей среди темной ночи на высоком и уединенном месте. Но темнота ночная вдруг озарилась ярким блеском, и явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на главе ее венец из двенадцати звезд. Явление несколько времени оставалось на месте, а затем тихо двинулось в сторону юга. Папа Петр поднял свой посох и воскликнул: "Вот наша хоругвь! Идем за нею". И он пошел по направлению видения, сопровождаемый обоими старцами и всею толпою христиан, — к Божьей горе, Синаю... [8]

31 (Тут читавший остановился.)

32 Дама. Что же вы не продолжаете?

33 Г. Z. Да рукопись не продолжается. Отец Пансофий не успел окончить своей повести. Уже больной, он мне рассказывал, что хотел писать дальше — "вот как только выздоровлю". Но он не выздоровел, и конец его повести погребен вместе с ним в Даниловом монастыре.

34 Дама. Но ведь вы же помните, что он вам говорил, — так расскажите.

35 Г. Z. Помню только в главных чертах. После того как духовные вожди и представители христианства удалились в Аравийскую пустыню, куда изо всех стран стекались к ним толпы верных ревнителей истины, новый папа мог беспрепятственно развращать своими чудесами и диковинами всех остальных, не разочаровавшихся в

антихристе, поверхностных христиан. Он объявил, что властью своих ключей он отворил двери между земным и загробным миром, и действительно общение живых и умерших, а также людей и демонов сделалось обычным явлением, и развились новые, неслыханные виды мистического блуда и демонолатрии. Но только что император стал считать себя крепко стоящим на почве религиозной и по настоятельным внушениям тайного "отчего" голоса объявил себя единым истинным воплощением верховного божества вселенной, как пришла на него новая беда, откуда никто ее не ожидал: поднялись евреи. Эта нация, которой численность дошла в то время до тридцати миллионов, была не совсем чужда подготовлению и упрочению всемирных успехов сверхчеловека. Когда же он переселился в Иерусалим, тайно поддерживая в еврейской среде слухи о том, что его главная задача — установить всемирное владычество Израиля, то евреи признали его Мессией, и их восторженная преданность ему не имела предела. И вдруг они восстали, дыша гневом и местью. Этот оборот, несомненно предуказанный и в Писании и в предании, представлялся отцом Пансофием, быть может, с излишнею простотою и реализмом. Дело в том, что евреи, считавшие императора кровным и совершенным израильтянином, случайно обнаружили, что он даже не обрезан. В тот же день весь Иерусалим, а на другой день вся Палестина были объяты восстанием. Беспредельная и горячая преданность спасителю Израиля, обетованному Мессии сменилась столь же беспредельною и столь же горячею ненавистью к коварному обманщику, к наглому самозванцу. Все еврейство встало как один человек, и враги его увидели с изумлением, что душа Израиля в глубине своей живет не расчетами и вожделениями

Маммона, а силой сердечного чувства — упованием и гневом своей вековечной мессианской веры. Император, не ожидавший сразу такого взрыва, потерял самообладание и издал указ, приговаривавший к смерти всех непокорных евреев и христиан. Многие тысячи и десятки тысяч, не успевших вооружиться, беспощадно избивались. Но скоро миллионная армия евреев овладела Иерусалимом и заперла антихриста в Харам-эш-Шерифе. В его распоряжении была только часть гвардии, которая не могла пересилить массу неприятеля. С помощью волшебного искусства своего папы императору удалось проникнуть сквозь ряды осаждающих, и скоро он появился опять в Сирии с несметным войском разноплеменных язычников. Евреи выступили ему навстречу при малой вероятности успеха. Но едва стали сходиться авангарды двух армий, как произошло землетрясение небывалой силы — под Мертвым морем, около которого расположились имперские войска, открылся кратер огромного вулкана, и огненные потоки, слившись в одно пламенное озеро, поглотили и самого императора, и все его бесчисленные полки, и неотлучно сопровождавшего его папу Аполлония, которому не помогла вся его магия. Между тем евреи бежали к Иерусалиму, в страхе и трепете взывая о спасении к Богу Израилеву. Когда святой город был уже у них в виду, небо распахнулось великой молнией от востока до запада, и они увидели Христа, сходящего к ним в царском одеянии и с язвами от гвоздей и распростертых руках. В то же время от Синая к Сиону двигалась толпа христиан, предводимых Петром, Иоанном и Павлом, а с разных сторон бежали еще иные восторженные толпы: то были все казненные антихристом евреи и христиане. Они ожили и воцарились с Христом на тысячу лет.

[36] На этом отец Пансофий хотел и кончить свою повесть, которая имела предметом не всеобщую катастрофу мироздания, а лишь развязку нашего исторического процесса, состоящую в явлении, прославлении и крушении антихриста.

[37] Политик. И вы думаете, что эта развязка так близка?

[38] Г. Z. Ну, еще много будет болтовни и суетни на сцене, но драма-то уже давно написана вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменять не позволено.

[39] Дама. Но в чем же окончательно смысл этой драмы? И я все-таки не понимаю, почему ваш антихрист так ненавидит Бога, а сам он в сущности добрый, не злой?

[40] Г. Z. То-то и есть, что не в сущности. В этом-то и весь смысл. И я беру назад свои прежние слова, что "антихриста на одних пословицах не объяснишь". Он весь объясняется одною, и притом чрезвычайно простоватою, пословицей: Не все то золото, что блестит. Блеска ведь у этого поддельного добра — хоть отбавляй, ну а существенной силы — никакой.

[41] Генерал. Но заметьте тоже, на чем занавес-то в этой исторической драме опускается: на войне, на встрече двух войск! Вот и конец нашего разговора вернулся к своему началу. Как вам это нравится, князь?.. Батюшки! Да где же князь?

[42] Политик. А вы разве не видели? Он потихоньку ушел в том патетическом месте, когда старец Иоанн антихриста к стене прижал. Я тогда не хотел прерывать чтения, а потом забыл.

[43] Генерал. Сбежал, ей-Богу, второй раз сбежал. А ведь как себя пересиливал. Ну а этой марки все-таки не выдержал. Ах ты, Господи!

Примечания

1. Примечание автора. Приступ к этому труду напечатан мною в трех первых главах теоретической философии ("Вопросы философии и психологии" 1897, 1898 и 1899 гг.). ↑

2. Примечание автора. Выражение — не мое. ↑

3. Примечание автора. Кстати. Мне продолжают приписывать враждебно-обличительные сочинения против основательницы необуддизма, покойной Е.П. Блавацкой. Ввиду этого считаю нужным заявить, что я с нею никогда не встречался, никакими исследованиями и обличениями ее личности и производившихся ею явлений не занимался и ничего об этом никогда не печатал (что касается до "Теософского общества" и его учения, см. мою заметку в Словаре Венгерова и рецензию на книгу Блавацкой "Key to the secret doctrine" в "Русском обозрении"). ↑

4. Примечание автора. Эти слова, писанные мною в октябре 1899 г., через месяц оправдались немецко-турецкою конвенцией по малоазиатским делам и Багдадской железной дороге. — В.С. ↑

5. Примечание автора. Название одной русской секты. ↑

6. Примечание автора. Разговор происходил в апреле. ↑

7. Примечание автора. Очевидно, политик намекает на подписку в память "самоубитого" Анри, где один французский офицер заявил, что он подписывается с надеждой на новую Варфоломеевскую ночь, другой — что он уповает на скорое повешение всех протестантов, франкмасонов и евреев, а один аббат — что он живет чаянием той светлой будущности, когда из кожи, содранной с гугенотов, масонов и жидов, будут сделаны дешевые ковры, и он, как добрый христианин, будет постоянно топтать такой ковер ногами. Эти заявления, среди нескольких десятков тысяч других в том же роде, напечатаны в газете "Libre Parole". ↑

8. Примечание автора. См. сказанное в предисловии по поводу этого места. ↑

LIFE FOR GOD

ХРИСТИАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Книги на русском и английском, аудиозаписи, духовные беседы и мастерская проповедника.

Веб-сайт

lifeforgod.church

Нажмите на адрес или отсканируйте QR-код камерой телефона.

Читать эту книгу онлайн